

ЯРОСЛАВ ШИМОВ

Европейский проект и демократия

В современном массовом сознании понятия «Европа» и «демократия» стали почти синонимами. Если Европа — значит, и демократия. Это едва ли не аксиома, и задаваться какими-либо вопросами на эту тему вроде бы излишне. Между тем именно попытка ответить на три простых вопроса относительно распространенности и характера европейской демократии дает возможность представить себе более сложную и более соответствующую действительности картину современной Европы. Эти вопросы — *когда* и *где* в Старом Свете утвердилась демократия и о *какой* демократии, собственно, идет речь сейчас, когда значительная часть европейских стран вступила в фазу не только экономической, но и политической интеграции в рамках Евросоюза.

1

Хотя «триумфальное шествие» массовой демократии¹ в Европе принято связывать с эпохой либерально-демократических революций конца XVIII — первой половины XIX вв., покончивших с традиционными монархиями или подорвавших их фундамент, в действительности процесс утверждения демократического строя в западной части континента занял еще целое столетие. Только после Второй мировой войны Западная Европа окончательно стала демократической. Причем будущее европейской демократии в середине минувшего века висело на волоске: достаточно вспомнить, что в 1940 году в Старом Свете насчитывалось всего 4 государства, сохранивших демократическую форму правления, — Великобритания, Ирландия, Швейцария и Швеция². Только поражение нацизма и военно-политическое присутствие США в Западной Европе позволило ей избрать демократический путь развития. Центральная и Восточная Европа (ЦВЕ), попавшая после 1945 года в сферу влияния СССР, оказалась лишена такой возможности, которая представлялась ей лишь после крушения коммунистических режимов в 1989 — 1991 гг. И здесь от вопроса о том, *когда* Европа стала демократической, мы переходим к тому, *где* и *как* происходило утверждение демократии.

По окончании Второй мировой обе части Европы, по сути дела, превратились в заложников двух сверхдержав. В период «холодной войны» трудно го-

¹ О различиях между историческими типами демократии подробнее см., напр.: Шимов Я. Пир победленных. Современная демократия как путь к катастрофе // Логос. 2003. № 4-5. С. 65-81.

² Правда, еще в нескольких странах демократические режимы рухнули именно в 1940 г. в результате оккупации нацистской Германией. Но и таких государств было немного: Бельгия, Дания, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Франция.

ворить о полноценном суверенитете не только восточноевропейских сателлитов СССР, но и западноевропейских союзников США. Политика сдерживания коммунизма любой ценой («доктрина Трумэна») не предусматривала столь жесткого вмешательства США в дела их европейских партнеров, как коммунистическая «доктрина Брежнева», на основании которой было проведено вторжение в Чехословакию в 1968 году. Тем не менее послевоенный раскол Европы и ее фактическое превращение в буферную зону двух сверхдержав привели к тому, что демократические процессы в обеих частях континента были ограничены: на западе — в меньшей степени³, на востоке — в большей. В результате по обе стороны «железного занавеса» возникло недовольство качеством общественно-политической жизни. В Западной Европе, главным образом в среде левых либералов и социал-демократов, особенно после начала «перестройки» в СССР, сохранялись иллюзии относительно позитивных черт социалистической модели. Ведь о «реальном социализме» советского типа западные интеллектуалы имели смутное представление, в то время как возникшее на Западе «государство всеобщего благосостояния» действительно имело немало социалистических черт. В те времена, когда популярностью пользовалась теория конвергенции двух социально-политических систем, «многие верили в то, что коммунистический строй можно каким-то способом реформировать. Отсюда вытекала стратегия сотрудничества с теми, кто находился у власти в Москве, Восточном Берлине, Варшаве и т.д. — такого сотрудничества, которое способствовало бы либерализации системы»⁴. Эти иллюзии западных левых были развеяны лишь серией антикоммунистических переворотов и падением «железного занавеса». Однако от самого восприятия бывшего соцлагеря как территории, подлежащей либерализации и вестернизации, значительная часть западноевропейского истеблишмента и интеллектуальной элиты не отказалась, и эта идея, как мы увидим, легла в основу современной «восточной политики» ЕС.

В ЦВЕ, напротив, в 80-е годы все более распространенным становилось представление, во-первых, о невозможности какого-либо реформирования «реального социализма», и во-вторых — о демократии западного типа и свободном рынке (которые рассматривались в неразрывной связи) как единственном выходе из кризиса, вызванного разложением и крахом социалистического строя. Поэтому после падения коммунистических режимов новая политическая элита востока Европы (состоящая частично из бывших диссидентов, частично — из вовремя перекусившихся аппаратчиков), начала куда активнее выступать в защиту либеральных ценностей, которые ассоциировались у нее с Западом, нежели ведущие представители самого Запада. Однако в обществе в целом картина оказалась более сложной: помимо «официального» либерализма, во многих странах Центральной и Восточной Европы стал стремительно распространяться радикальный национализм и ультраправый консерватизм на грани фашизма, т.е. политические течения, на Западе давно пе-

³ Иногда, впрочем, и здесь эти ограничения были весьма жесткими: можно вспомнить гражданскую войну 1944 — 1948 гг. в Греции, выигранную монархистами исключительно благодаря поддержке Великобритании и США, или антикоммунистические кампании в Италии и Франции в конце 40-х — начале 50-х гг.

⁴ Lonnie R. Johnson. *Central Europe: Enemies, Neighbors, Friends*. NY — Oxford, 1996. P. 271.

решедшие в разряд маргинальных. С другой стороны, оказалось, что в Западной Европе, обросшей жирком welfare state, по словам итальянского философа Джанни Ваттимо, «проявляется тот ген «социализма», который, невзирая на всевозможные злоключения социализма реального, Европа хранит в своей культурной основе»⁵. Раскол Европы остался не преодолен, несмотря на окончание «холодной войны». Именно тогда на сцену вышел проект европейской интеграции, более известный сегодня как «расширение Евросоюза».

2

Показательно, что в массовом сознании европейцев и остального мира закрепился именно этот термин — расширение, экспансия, т.е. распространение уже существующих в рамках Евросоюза ценностей, правил и институтов на новые страны и народы. В общем, несмотря на многочисленные декларации о равноправном партнерстве, речь в действительности идет о *цивилизаторской миссии* ЕС в Центральной и Восточной Европе. Такая миссия прекрасно вписывается в представления западноевропейцев об их ближайших восточных соседях — «таких же, как мы, только более отсталых и менее цивилизованных». В своем исследовании «Изобретая Восточную Европу» американский историк и культуролог Ларри Вульф утверждает, что такое восприятие Восточной Европы родилось на Западе в эпоху Просвещения, и с тех пор этот дискурс не слишком-то изменился. «Он возник не сам по себе, — пишет Вульф, — не в силу естественных причин, и не случайно, но был продуктом создавшей его культуры, плодом интеллектуальной ловкости, орудием саморекламы и идеологической корысти... Именно Европа Западная в XVIII веке, в эпоху Просвещения, изобрела Восточную Европу, свою вспомогательную половину... На том же самом континенте, в сумрачном краю отсталости, даже варварства, цивилизованность обнаружила своего полудвойника, полупротивоположность. Так была изобретена Восточная Европа»⁶.

Экономическая отсталость восточных регионов Европы от западных стран — исторический факт, однако в восприятии Западной Европой восточных соседей продолжают доминировать соображения отнюдь не экономического, а политического и культурного характера. Центральной и Восточной Европе навязывается представление о собственной «вторичности» по отношению к Западу и о необходимости однозначного следования западным образцам. Речь идет именно о западном подходе, поскольку самооценка восточноевропейских народов изначально была лишена мазохистского ощущения своей отсталости и ущербности по сравнению с Западом. Более того, некоторые обитатели ЦВЕ в своей «гордыне» доходили до заявлений вроде лозунга патриотически настроенной венгерской шляхты конца XVIII века: *Extra Hungariam non vita est* («Вне Венгрии жизни нет»). Гордясь традициями вольности и парламентаризма, венгры и поляки любили проводить параллели между собой и англичанами как двумя наиболее приверженными демократии народами Европы. При этом говорилось «мы и англичане», но не «мы как англичане», что укладывалось бы в рамки западного *цивилизаторского* дискурса.

⁵ Дж. Ваттимо. Европейский дом // Отечественные записки. 2003. № 6.

⁶ Л. Вульф. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003. С. 35.

В XX веке, однако, именно этот дискурс одержал верх в сознании значительной части обитателей ЦВЕ. На мой взгляд, это связано с катастрофическими для данной части Европы последствиями двух мировых войн. Пропагандировавшаяся интеллектуалами и правящими кругами вначале кайзеровской, а затем и нацистской Германии концепция *Mitteleuropa* – хозяйственного и политического объединения стран ЦВЕ и Балкан при доминирующей роли немецкого рейха – не могла быть реализована из-за поражения Германии в обоих мировых конфликтах. Распад Австро-Венгрии в 1918 году означал крушение державы, объединявшей два десятка центрально- и восточноевропейских народов и придававшей им определенный геополитический вес. После этого регион «между Германией и Россией» перестал играть какую-либо самостоятельную роль, что подтвердила вначале его оккупация нацистами, а затем – переход под власть СССР. И *Mitteleuropa*, и социалистический лагерь, и даже (хоть и в меньшей степени) монархия Габсбургов не были демократическими проектами, и все они не принесли ЦВЕ стабильности и процветания. Поэтому многим центральноевропейцам демократия начала представляться единственным способом восстановления национального достоинства и свободы народов региона, а ориентация на Запад – последним шансом на спасение. Отсюда сформулированная Миланом Кундерой концепция Центральной Европы как – с культурной и политической точек зрения – части Запада, «украденной» СССР/Россией, но обязанной вернуться «домой», на Запад. Европейская интеграция в том виде, какой она приобрела в 90-е гг. и в каком продолжается ныне, означает фактическую реализацию этой концепции.

Такой подход приносит неоднозначные результаты. Конечно, глупо было бы отрицать культурную общность и исторически сложившиеся тесные связи многих стран и народов ЦВЕ с Западом. Но, с другой стороны, наличие таких связей – вовсе не повод для отказа от собственного лица и некритического принятия всего, что приходит с Запада. Вступление ряда стран ЦВЕ в Евросоюз, намеченное на 1 мая этого года, проходит по «школьному» принципу: в Союз допущены те государства, которые хотя бы относительно успешно сдали «экзамены», т.е. привели свое законодательство, политическую и экономическую системы в соответствие с подробными требованиями, предъявленными им «учителем» – ЕС. Это нормально, поскольку члены любого сообщества должны соответствовать неким основным параметрам, на основании которых такое сообщество действует. Однако с точки зрения общеевропейских ценностей нынешняя схема интеграции далека от совершенства, поскольку опирается почти исключительно на западные представления о том, какой должна быть Европа. Страны ЦВЕ, добровольно принявшие на себя роль «учеников», вынуждены будут смириться с тем, что в рамках расширенного ЕС их голос будет слышен далеко не всегда просто потому, что они – объекты придуманной Западом для себя цивилизаторской миссии. Уже разгоревшийся спор Польши с Германией и Францией, составляющими ядро ЕС, по поводу устройства руководящих органов Союза неминуемо приведет к тому, что поляки неизбежно должны будут уступить, хотя формально их поражение, вероятно, будет тщательно замаскировано – во имя сохранения европейского «единства».

Таким образом, европейский проект, стратегическая цель которого — унификация европейского пространства на либеральных принципах, важнейшими из которых являются демократия и гражданские свободы, по сути своей не слишком демократичен. В рамках расширенного ЕС еще долго будет существовать, с одной стороны, элитарный клуб наиболее крупных и богатых стран во главе с Германией и Францией, а с другой — «европейцы второго класса», прежде всего страны ЦВЕ. Такое положение обусловлено как объективными факторами, прежде всего экономической отсталостью новых членов Союза по сравнению с большинством «старожилов», так и субъективными причинами, главным образом тем, что европейская интеграция — это западный цивилизаторский проект.

Другой важный аспект, касающийся (не)демократичности этого проекта, можно назвать идеологическим. По мере приближения даты расширения, усилившего опасения многих европейцев относительно возможных последствий этого процесса, «еврооптимизм» истеблишмента ЕС и симпатизирующих ему масс-медиа стал приобретать черты достаточно жесткой идеологической конструкции. В ее основе — убежденность в универсальной, всеобщей ценности опыта Евросоюза, своего рода *евромессианство*. Как пишет Юрген Хабермас, «успешная история Евросоюза укрепила европейцев в убеждении, что отказ от осуществления государственного насилия требует и на глобальном уровне взаимного сокращения пространства для суверенных действий»⁷. Быть «евроскептиком» или просто подвергать сомнению универсальность европейского проекта, подчеркивая его незавершенность, а также уникальность исторических условий, в которых он возник, — такая позиция становится в современной Европе непопулярной. Не в том смысле, что ее приверженцы не пользуются поддержкой широкой общественности (напротив, в последнее время скептицизм многих европейцев в отношении перспектив ЕС заметно усилился), а в том, что евроистеблишмент всюду стремится отеснить носителей таких взглядов на обочину европейской политики. Им искусственно создают репутацию маргиналов, пытаясь свалить их в одну кучу с радикалами и консервативными популистами вроде Йорга Хайдера и Жана-Мари Ле Пена. Можно ли в таких условиях говорить о том, что в Евросоюзе царит дух демократии?

Другой существенный момент — элитарность и технократизм европейского проекта, идущие вразрез с демократическими декларациями лидеров ЕС. Позволю себе процитировать обозревателя британского еженедельника «Экономист», который четко выразил суть проблемы: «Еврократы давно жалуются на то, что Европейский союз, при всем значительном объеме властных полномочий, которыми он располагает, слишком часто воспринимается как безжизненная бюрократическая конструкция. Самые амбициозные “строители Европы” не раз утверждали, что после экономической и финансовой унификации следующим шагом должен стать политический союз. Но для этого европейские органы власти должны начать проводить четкую, узнаваемую (*recognizable*) политику. ЕС — чемпион в области закулисных сделок в прокуренных комнатах, но с политикой публичной у него всегда были

⁷ Ж. Деррида, Ю. Хабермас. Наше обновление после войны... // ОЗ, 2003. № 6.

проблемы. Общественные дискуссии паневропейского масштаба практически не ведутся. А европейские масс-медиа крайне мало пишут, например, о Европарламенте, хотя это орган, члены которого избираются напрямую населением, а его политическое значение растет»⁸.

И наконец – the last but not least – взаимоотношения интегрирующейся Европы с «остальным миром», прежде всего лежащим к востоку и юго-востоку от новых границ ЕС. Несмотря на провозглашаемую открытость и универсализм европейской идеи, внешняя политика Евросоюза не лишена черт несколько парадоксального изоляционизма. Особенно ярко это проявляется в отношениях между ЕС и Россией. Речь идет не о стремлении Европы изолироваться от России, а скорее о выражаемом европолитиками недовольстве нежеланием Москвы вписываться в рамки западного цивилизаторского дискурса. Можно вспомнить и многочисленные заявления руководства Евросоюза и отдельных его членов по Чечне, и то и дело выражаемую озабоченность ходом и результатами тех или иных российских выборов, и претензии к Кремлю относительно свободы прессы, и критику российской политики по отношению к некоторым странам СНГ... Полагаю, что во многих случаях претензии Евросоюза к России вполне обоснованны. Но вот стремление поставить будущее всего комплекса отношений между ЕС и Россией в зависимость от решения тех или иных частных проблем, пусть даже столь болезненных, как чеченская; попытки поставить знак равенства между границами Европы и границами ЕС; то и дело высказываемые сомнения в самой принадлежности России к Европе – все это трудно понять, а тем более принять.

11 лет назад польский журналист и путешественник Рышард Капусцинский в посвященной бывшему СССР книге «Империя» – весьма неоднозначной, но крайне интересной именно как воплощение цивилизаторского дискурса, воспринятого от Запада некоторыми центральноевропейцами, – писал: «Запад, очарованный и одновременно напуганный Россией, всегда готов прийти ей на помощь – хотя бы из соображений собственного спокойствия и мира. Запад может отказаться предоставить помощь кому-то другому, но России поможет всегда»⁹. Сегодня эти слова трудно читать иначе как с грустной улыбкой. Похоже, что в отношениях России и Запада наступила эпоха взаимной усталости и с трудом скрываемого раздражения.

Очень важно, чтобы это раздражение не переросло в конфронтацию. Если инициаторы и проводники проекта европейской интеграции действительно стремятся к тому, чтобы он соответствовал своей демократической репутации, было бы неплохо, чтобы в идеологическом багаже этого проекта универсализм и цивилизаторский пафос пошли на убыль, а признание права на *инаковость* и уважение к разнообразию политических, экономических и культурных моделей в рамках одной цивилизации заняли подобающее им место. Пока же, как констатирует в предисловии к уже упоминавшейся книге Л. Вульфа российский политолог и культуролог Алексей Миллер, «в дискурсе, созданном и воспроизводимом на Западе, Россия не может лишь по собственной воле изменить свою роль и свой образ. Не Россия поместила себя вне Европы, и не только от России зависит это преодолеть».

⁸ The Economist. June 28th – July 4th, 2003. P. 38.

⁹ Цит. по чешскому изданию: R. Kapuściński. Imperium. Praha, 1995. S. 314.

ЯРОСЛАВ ШИМОВ

Пир побежденных

Современная демократия как путь к катастрофе

«Есть вещи поважнее, чем мир».

*Притисывается Александру Хейгу,
госсекретарю США в первой
администрации Р. Рейгана*

Европейский Конвент, занимающийся подготовкой реформы Евросоюза, а по сути дела — поиском «лица» объединенной Европы, обсуждает положения будущей европейской Конституции. Непростое дело — ведь речь идет об идентичности новой Европы, а именно в этом вопросе до какой-либо ясности пока весьма далеко. В наличии есть лишь декларативные заявления руководителей ЕС да ставшие общим местом лозунги — демократия, права человека, гражданские и экономические свободы... Кроется ли за ними еще хоть какое-то содержание сегодня, когда мир, похоже, начинает жить по законам, очень далеким от классических либеральных представлений? К чему пришла современная западная, в первую очередь европейская, демократия и каковы ее дальнейшие перспективы? И есть ли они вообще — у демократии и у той цивилизации, которую по привычке называют христианской и которая опоясывает северную часть земного шара от Калифорнии до Камчатки?

Хрупкий баланс демократии

Начнем с аксиомы: индивидуализм, частная собственность и демократическая модель политического устройства¹ являются неотъемлемыми признаками западной (евроамериканской) цивилизации. Последнее не означает, что история этой цивилизации не знала эпох, когда указанные принципы не соблю-

¹ Под демократической здесь и далее подразумевается такая форма правления, при которой, во-первых, высшим носителем политического суверенитета, т.е. обладателем права принятия политических решений, являются все или большинство политически активных членов данного общества («политического народа»), осуществляющие вышеуказанное право непо-

дались или отрицались. Это значит лишь, что индивидуализм, частная собственность и демократия как феномены характерны лишь для западного мира и не были известны незападным обществам² до тех пор, пока евроамериканская цивилизация не стала доминировать в мире, оказывая все возрастающее давление на своих соседей, в той или иной форме навязывая им собственные экономические, политические и государственно-правовые модели³. Но и на самом Западе демократия не оставалась статичной, пройдя в своем развитии ряд стадий. Необходимо подчеркнуть, однако, что любой демократии присущи два базовых элемента. Во-первых, это *репрезентативный характер*, свойственный как прямой демократии, где каждый гражданин представляет самого себя, так и демократии представительской, где интересы граждан выражают избранные ими уполномоченные – парламентарии или члены иных выборных органов. Во-вторых, это *общие ценности*, на которых основывается демократическое общество и которые не позволяют демократии превратиться в анархию, гоббсовскую «войну всех против всех». При этом ценности являются общими именно постольку, поскольку они отражают представления практически всех членов общества; это то, что объединяет его представителей, подчеркивая тем самым репрезентативный характер демократии.

Несомненно, определенная система ценностей существует в любом социуме. В недемократических обществах она поддерживается прежде всего силой традиции, воплощенной в устойчивых иерархических структурах. Возможность смены системы ценностей возникает в случае, если в силу тех или иных обстоятельств в недрах общества появляется достаточно мощная индивидуальная или коллективная воля, которая идет наперекор установившимся традициям и создает тем самым качественно новую политическую ситуацию. В недемократических обществах подобная ситуация ведет либо к подавлению реформистских или революционных настроений иерархическими структурами и восстановлению нарушенной традиции, либо, наоборот, к победе «новаторов», слому прежней иерархии и созданию новой традиции со своей системой ценностей. Недемократические общества тяжело реформируются; видимо, именно поэтому все великие империи рушились, уступая место новым формам общественного и государственного устройства, а не медленно «перетекали» в эти новые формы. В условиях же демокра-

средственно или через своих представителей; во-вторых, власть большинства реализуется в рамках законодательных ограничений, утверждаемых этим большинством или его полномочными представителями и не подлежащих произвольному изменению вплоть до момента, когда они будут изменены опять-таки волей большинства или его представителей.

² В качестве пояснения, касающегося принципа частной собственности (точнее, его отсутствия) в традиционных восточных обществах, можно привести характеристику, данную этим обществам Марксом: «Государство здесь – верховный собственник земли. Суверенитет здесь – земельная собственность, сконцентрированная в национальном масштабе... В этом случае не существует никакой частной собственности, хотя существует как частное, так и общинное владение землей» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. 2. С. 354).

³ Тем более странным кажется быстрое распространение и необычайная популярность в либеральных кругах современного Запада примитивистски наивной теории «конца истории» Ф.Фукуямы, фактически провозгласившего современную демократию высшей и универсальной формой общественного устройства, к которой рано или поздно придут все цивилизации, существующие на планете Земля.

тии, помимо двух перечисленных решений (первое из них можно назвать контрреволюционным, второе – революционным; с этой точки зрения Цезарь и Наполеон, несомненно, были революционерами), существует и третье – *компромисс*. Он выражается в частичном удовлетворении требований «новаторов» за счет определенных уступок со стороны «консерваторов». Необходимость компромисса вытекает из упомянутого выше репрезентативного характера демократии, который предполагает, что должны учитываться интересы всех групп, представленных в данном обществе. Отсюда – ставшее хрестоматийным представление о демократии как политическом строе, для которого характерны определенные механизмы, «имеющие своей целью гарантировать меньшинству условия для осуществления определенных индивидуальных или коллективных прав, таких, например, как свобода слова, вероисповедания и т. д.»⁴.

Однако далеко не всякой демократии свойственно стремление к компромиссам. Степень ее «компромиссности» зависит главным образом от соотношения между двумя элементами демократической системы, о которых упоминалось выше, – репрезентативностью и общими ценностями, точнее, их идеологическими модификациями. Демократия сохраняет стабильность и идет по пути политических компромиссов до тех пор, пока первая преобладает над вторыми. Иными словами, пока стремление к тому, чтобы все имеющиеся в обществе мнения могли быть выражены и все интересы представлены, превалирует над стремлением осуществить ту или иную политическую программу, распространив ее на все общество, – то есть удовлетворить интересы *части* (пусть даже эта часть – большинство), выдав их за интересы *целого*. Как только вторая тенденция начинает ощутимо брать верх над первой, демократия вступает в полосу кризиса. Фаза стабильности характеризуется формированием устойчивых политических группировок (например, тори и виги в Англии), их чередованием у власти, интригами, маневрами и скандалами, не перерастающими, однако, в открытый конфликт, который грозил бы уничтожением всей политической системе. Фаза кризиса – это нарастающее политическое напряжение, радикализация требований «новаторов» при растущей неуступчивости «консерваторов», отказ от компромиссов и начало борьбы на уничтожение противника – политическое, а нередко и физическое, – что может привести к демонтажу демократического строя и его замене автократией.

Ранние демократии⁵, существовавшие в Европе до эпохи так называемых буржуазных революций, т. е. до конца XVIII – первой половины XIX вв., как

⁴ Гаджиев К. С. Политическая наука. М. 1995. С. 176.

⁵ К числу таких демократий, помимо античных, можно отнести, например, большинство итальянских и германских городских республик XIII – XVIII вв., нидерландские Соединенные Провинции и даже выборные монархии (по выражению одного польского историка, «шляхетские республики, увенчанные короной») вроде Речи Посполитой и Венгрии в XVI–XVIII столетиях. Все эти режимы обладали формальными признаками демократии – с учетом того, что понятие «политический народ» в ту эпоху было значительно более узким, чем понятие «народ» как население данного государства. Сложнее обстоит дело с сословно-представительскими монархиями, существовавшими практически по всей Европе. Эти режимы представляли собой сочетание раннедемократических элементов, олицетворяемых органа-

правило, соблюдали хрупкий баланс между репрезентативностью и политико-идеологическими программами, выдаваемыми за общие ценности. Это происходило, как ни странно, во многом из-за узости социальной базы ранних демократий. Будучи сословными по характеру, они опирались на представителей высших и отчасти средних слоев общества, которые и составляли «политический народ». Низшие слои — большая часть крестьянства, городская беднота, инородцы и иноверцы, прежде всего евреи, и т. д. — были отстранены от принятия политических решений, лишены гражданских прав и как правило вовсе не считались «народом» в политическом и государственно-правовом смысле слова. Социальные низы еще не обладали сформировавшимся политическим сознанием, поэтому с их стороны ранним демократиям до поры до времени угрожали разве что плохо организованные крестьянские восстания да бунты городского плебса, с которыми обычно удавалось относительно быстро справиться.

Правящей элите в эпоху ранних демократий, конечно, не всегда удавалось избегать расколов и конфликтов, многие из которых длились не одно десятилетие. Однако их результатом обычно становилась не смена политического строя, а соглашение между противоборствующими группировками. (Вот несколько примеров таких соглашений: Люблинская уния 1569 года, соединившая два раннедемократических государства — Польское королевство и Великое княжество Литовское — в единую Речь Посполитую; Нантский эдикт Генриха IV, способствовавший примирению французских католиков и гугенотов; Вестфальский мир 1648 года, завершивший Тридцатилетнюю войну — грандиозное столкновение группировок европейской сословной элиты). К тому же гораздо чаще, чем между собой, сословия боролись с общим противником — королевской властью с ее авторитарно-централистскими поползновениями⁶. Исход этой борьбы был неоднозначен. Если в Англии в результате двух революций — 1640–1660 и 1688 гг. — демократическим (в тогдашнем смысле слова) силам удалось взять верх над монархическим авторитаризмом, а в Польше и Венгрии укрепилась шляхетская вольница, то в большинстве стран континентальной Европы победа в XVI — XVII вв. осталась за абсолютизмом. Однако элементы ранней демократии не исчезли и здесь: можно вспомнить французские городские и региональные парламенты, не раз вступавшие в правовые споры с королем, ландтаги герман-

ми сословного представительства (английский парламент, испанские кортесы, земельные собрания — ландтаги — в Германии, Австрии и Чехии, сеймы в Польше и Венгрии, земские соборы на Руси и т. д.), и недемократической традиции, воплощенной в особах наследственных монархов, правящих «милостью Божьей».

⁶ Хорошим примером может служить история начала Тридцатилетней войны в Европе, поводом для которой явился конфликт между сословиями Чехии (точнее, королевства Богемия) и императорской властью Габсбургов. Хотя формально конфликт носил религиозную окраску, т.к. среди богемского дворянства и мещанства преобладали протестанты, а императорский двор служил оплотом католицизма, в действительности причины столкновения были социально-политическими и заключались в стремлении сословно-представительских институтов Богемии, входившей в состав конгломерата габсбургских земель, к большей автономии от центральной власти. Об этом свидетельствует и тот факт, что по крайней мере на первом этапе борьбы (1618–1620) среди ведущих представителей мятежных богемских сословий было немало католиков, выступавших бок о бок с протестантами.

ских земель, то и дело отказывавшие императору в войсках и дополнительных денежных отчислениях, испанские кортесы, сопротивлявшиеся абсолютистским реформам Филиппа II... Неудивительно, что и Великая французская революция началась с созыва давным-давно не собиравшегося словно-представительского института – Генеральных штатов.

Эволюция демократии

Конец XVIII столетия, когда «третье сословие» вышло на арену политической борьбы, стал началом истории нового типа демократии – *массовой*, которая отличалась от своей предшественницы столь же сильно, как Франция Дантона и Робеспьера от Франции Бурбонов. Появление многомиллионных масс в качестве важнейшего фактора политической борьбы изменило и институциональную форму, и философско-психологическое содержание демократии. В контексте эволюции демократии как социального феномена, анализом которой мы занимаемся, наиболее существенным представляется появление того, что британский политолог и социальный философ Ноэл О’Салливан называл «активистским политическим стилем» (*activist political style*). Это «политический стиль, который... не принимал во внимание принцип легальности», стиль, в рамках которого «государство и общество должны были слиться в одно всепоглощающее движение», причем в наиболее радикальных вариантах «активизма» «принципиально не допускалось какого-либо конституционного ограничения власти»⁷, руководимой идеей социального обновления. Первыми образцом такой власти и такой демократии создали якобинцы.

Чтобы лучше понять суть этого явления, необходимо вернуться к затронутому ранее вопросу о соотношении двух базовых элементов демократии – репрезентативности и общих ценностей. Как мы уже выяснили, в условиях ранней демократии первое преобладает над вторым, т. е. сохранение баланса интересов различных групп «политического народа» представляется более важной задачей, нежели подчинение этих интересов единой общей цели или идее⁸. Политическая элита при ранней демократии, как правило, формируется в результате компромиссных соглашений, играющих столь значительную роль в этой модели государственно-политического устройства (см. выше). Общие ценности при этом носят как бы рамочный характер, основываясь чаще всего на религиозной, исторической и государственно-правовой традиции, языковом и культурном единстве данного общества⁹.

⁷ N. O’Sullivan. *Fascism*. London. 1983. P. 44.

⁸ Исключения из этого правила, конечно, встречались (например, республика, созданная в чешском городе Табор радикальными гуситами, или кальвинистская Женева), но они были весьма редки.

⁹ В качестве примера можно привести фрагмент одной из деклараций Сабора (сословно-представительского собрания) Хорватского королевства, которая была принята в середине XVIII века и объясняла статус страны и условия ее унии с Венгрией: «По закону мы являемся землей, связанной с Венгрией, но ни в коем случае не подчиненной ей. В свое время у нас были собственные, невенгерские короли... Мы по своей воле стали подданными, но не Венгерского королевства, а венгерского короля. Мы свободны, мы – не рабы никому». (Цит. по: V. Jelavich. *History of the Balkans*. Cambridge. 1983. Vol. 1. P. 142). Таким образом, именно

При массовой демократии дела обстоят совершенно иначе. Она противопоставляет традициям новации (очень часто в радикальной, революционной форме), интересам — идеалы, репрезентативности и политическим компромиссам — идеологию как форму воплощения новых общих ценностей. С философской точки зрения это объясняется появившимся еще в эпоху Просвещения в европейском обществе «наивным оптимизмом, который является наиболее примечательной чертой современной западной культурной и политической жизни... Человек перестал верить в то, что зло — неотъемлемая часть человеческого бытия, как учила христианская доктрина о первородном грехе, и начал верить в то, что зло возникает в структуре общества. Таким образом, зло может быть устранено путем изменения общественного устройства»¹⁰. Отсюда — непоколебимая решимость апостолов массовой демократии изменить общество в соответствии с собственными представлениями о благе и справедливости. Отсюда — необходимость устранить всех, кто мешает установлению нового порядка, поскольку не разделяет ценностей, которые массовая демократия предлагает (точнее, навязывает) в качестве общих. Отсюда — та необычайная легкость, с которой французские якобинцы, а сто с лишним лет спустя — русские большевики, итальянские фашисты и немецкие нацисты перешли от лозунгов свободы и справедливости к государственному террору и невиданному ранее подавлению индивидуальной свободы.

Массовая демократия в ее наиболее радикальных проявлениях, каковыми являются тоталитарные режимы, фактически вывернула раннюю демократию наизнанку. Если раньше «политическим народом» признавались лишь привилегированные слои общества, а подавляющее его большинство было лишено гражданских прав, то теперь этих прав лишались бывшие привилегированные слои (при якобинцах и большевиках), политические противники нового режима (при фашистах) или представители «низших» рас и народов (при нацистах). Разница заключалась «всего лишь» в том, что в эпоху ранней демократии политическое сознание бесправного большинства долгое время находилось на крайне низком уровне, что в какой-то мере объясняет сам феномен столь распространенного бесправия; массовая же демократия исключала из состава «политического народа» социальные группы, обладавшие весьма развитым политическим сознанием.

Никаких компромиссов — полное торжество идеологии, т. е. той или иной версии общих ценностей, в ущерб репрезентативности. Такова формула тоталитаризма, который является «законным сыном» массовой демократии — точнее, ее наиболее радикальной (и, возможно, наиболее последовательной) формой. Послевоенная либеральная мысль долго не могла смириться с тем фактом, что «просвещенная» Европа оказалась способной породить такое чудовище, как третий рейх. Отсюда — многочисленные интеллектуальные уловки, призванные показать чуждость тоталитаризма европейской политической традиции, свести его суть к козням опасных манья-

закон и традиция определяли характер и смысл существования хорватского общества и государства на том историческом этапе.

¹⁰ O'Sullivan. Ibid. P. 13–14.

ков, каковыми представлялись либералам Гитлер и Муссолини, или ко временному массовому помешательству целых народов. Но многие мыслители, пусть с осторожностью и оговорками, как Эрнест Геллнер, признали несомненное: «Конкретное соединение составивших эту идеологию (нацизм — *Я. Ш.*) элементов... не может, конечно, считаться итогом европейской традиции, но вместе с тем не выходит и за ее пределы. Натурализм этой идеологии делает ее продолжением идей Просвещения, ее коммунализм, культ местных особенностей говорит о ее прямой связи с романтизмом, возникшим как реакция на Просвещение»¹¹.

Впрочем, в первые сто лет после краткого якобинского эксперимента массовая демократия более не находила столь же радикального воплощения, довольствуясь умеренным вариантом — классической *либеральной демократией* с ее конституционными ограничениями, межпартийной борьбой и относительно высоким уровнем репрезентативности. В XIX — начале XX вв. с формальной точки зрения этот уровень непрерывно возрастал — по мере того, как европейские страны полностью или частично отказывались от имущественного избирательного ценза, системы выборов по куриям, остатков сословного представительства и т. д. Либеральная демократия действительно предоставила гражданам немалую индивидуальную свободу, однако пространство этой свободы становилось все более узким. С одной стороны, это происходило в силу отчетливо классового характера, который приобрела либеральная демократия — и в этом отношении марксистская критика данного строя была вполне справедливой. Если в эпоху ранней демократии и абсолютизма положение человека в социальной иерархии определялось в первую очередь его сословным происхождением, то в либерально-демократический период решающую роль стало играть его имущественное, экономическое положение; поэтому, говоря о репрезентативности либерально-демократического строя, не следует забывать, что эта репрезентативность была весьма относительной. С другой стороны, усиливалась идеологизация демократии — по мере того, как по Европе распространялась эпидемия агрессивного национализма. Наконец, в большинстве европейских государств (за исключением Великобритании, Франции после 1870 г. и ряда стран Северной Европы) демократия была ограничена институтами традиционной монархии.

Период с 1917 до середины 30-х гг. стал временем крушения либерально-демократических режимов по всей континентальной Европе. Либеральная демократия или переродилась в тоталитарные диктатуры (Германия, Италия, Россия), или была заменена консервативно-традиционалистскими режимами (Венгрия, Испания, Португалия, Румыния, Югославия и др.). И тоталитаризм, и консервативный авторитаризм означали победу идеологии как насильственно навязанной версии общих ценностей над репрезентативным характером демократии. В обоих случаях переход от относительной свободы к почти абсолютной несвободе совершался при поддержке и активном содействии миллионов недовольных прежним строем. Как заметил о Первой мировой Бенито Муссолини, «война масс закончилась победой масс»¹².

¹¹ Геллнер Э. Пришествие национализма // «Путь». 1992. № 1. С. 36.

¹² Цит. по: Н. W. Schneider. Making of the Fascist State. New York. 1928. P. 352.

Посттоталитарная демократия

Из всех ведущих держав первой половины XX века крушения либеральной демократии удалось избежать только Великобритании и США. Это объясняется скорее всего тем, что переход от ранней демократии, традиция которой восходит в Англии к Великой хартии вольностей 1214 г., к демократии массовой там произошел реформистским, эволюционным путем, что привело к сохранению высокого уровня репрезентативности. Что касается США, то они по сути дела «импортировали» британскую демократическую традицию в ее радикализованной пуританской версии. Тем не менее и в англосаксонских странах в середине XX века было заметно усиление авторитарных тенденций, особенно в годы Второй мировой войны. После этой войны демократия уже не могла оставаться прежней, и демократические режимы, восстановленные в западной части континентальной Европы при содействии англосаксонских победителей, не стали простой реставрацией либеральной демократии былых времен. Начался переход к новому типу демократии, который можно назвать *посттоталитарным*¹³.

Этому способствовали и новые социально-экономические тенденции, результатом которых стало полное изменение структуры западного общества по сравнению с первой половиной XX века. Юрген Хабермас так описывает этот процесс: «Социальная политика ликвидирует крайние диспропорции и проявления незащищенности, не затрагивая, однако, неравенства собственности, дохода и власти... Неравное распределение социальных благ теперь отражает структуру привилегий, которые нельзя больше объяснять исключительно классовым положением... Роль работающего по найму теряет свои болезненно пролетарские черты благодаря непрерывному повышению уровня жизни, хотя и дифференцированного по социальным слоям... Массовая демократия, присущая государству с развитой системой социальной защиты, является устройством, которое смягчает классовый антагонизм, по-прежнему содержащийся в недрах хозяйственной системы. Но это возможно лишь при условии, что капиталистическая динамика экономического развития, защищенная политикой государственного вмешательства, не ослабевает»¹⁴. Однако капиталистическая экономика, которой присуще чередование подъемов и кризисов, не в состоянии гарантировать такую динамику. Но это далеко не единственная проблема посттоталитарного демократического общества. Примерно на рубеже 60-х – 70-х гг. XX столетия в развитии западной цивилизации произошел *надлом*, последствия которого человечество только начинает осознавать сегодня. Он был вызван совокупным действием ряда факторов.

Во-первых, мировой нефтяной кризис начала 70-х дал толчок частичному перераспределению материальных благ в мире, заложив основы процветания

¹³ Особенности эволюции демократии в XX в., на мой взгляд, недостаточно учитываются сторонниками одной из наиболее известных западных политологических концепций последних лет – теории «трех волн демократизации». Подробнее см., напр.: S. P. Huntington. *The Third Wave. Democratization in the Late 20th century*. Norman, Ok. 1993.

¹⁴ Хабермас Ю. Отношения между системой и жизненным миром в условиях позднего капитализма // Теория и история экономических и социальных институтов и систем (THESIS). 1993. № 2. Т. 1. С. 128–131.

ряда стран Ближнего Востока и значительно облегчив экономическое положение уже стагнирующего Советского Союза. Во-вторых, окончательный крах колониальных империй в 60-е гг. привел, с одной стороны, к дальнейшему расширению сферы геополитического влияния советского блока, а с другой — к появлению обширных зон нестабильности, за контроль над которыми Запад вынужден был бороться с СССР. В-третьих, бурный технологический прогресс вызвал ускорение экономических процессов и положил начало глобализации мирового хозяйства. Она привела, с одной стороны, к увеличению хозяйственного и технологического отрыва западного мира от остальных цивилизаций, а с другой — к усилению миграционных потоков, в первую очередь к резкому росту числа эмигрантов из стран «третьего мира» в Западную Европу и Северную Америку. В-четвертых, неспособность правящих элит западных стран дать адекватный ответ на вызовы новой эпохи привела к массовому распространению левых коллективистских убеждений, подпитываемых до поры до времени иллюзорными представлениями многих западных интеллектуалов об успехе социалистических экспериментов в СССР и маоистском Китае. Полевение западного общества, длившееся вплоть до начала-середины 80-х гг., сопровождалось в Западной Европе дальнейшей фактической дехристианизацией¹⁵, которая началась еще в эпоху Просвещения и продолжилась при либеральных демократиях конца XIX — начала XX вв.

Все эти процессы ослабили западную цивилизацию. Ведь, несмотря на внешнее сохранение и даже усиление своего экономического и военно-политического доминирования в мире, Запад в то же время стал более уязвимым, открытым сообществом, подверженным влияниям своих соседей по планете в куда большей степени, чем раньше. Глобализация привела к постепенному, пусть пока и частичному, размыванию культурных и цивилизационных основ западного общества, признаком чего стало появление доктрины мультикультурализма, официально «благословляющей» процесс превращения евроамериканского пространства в мозаику народов и культур самого разного происхождения. Можно сказать, что последние 30 лет для Запада — время постепенного перехода от глобального наступления, которое эта цивилизация вела в течение пяти столетий, ко все более пассивной обороне.

Казалось бы, события последнего времени (распад советского блока, превращение США в единственную сверхдержаву, демократизация в Восточной Европе и бывшем СССР, успешные военные операции западных стран в Персидском заливе, Югославии, Афганистане, ускорение темпов европейской интеграции, расширение НАТО, дальнейший рост экономического и политического влияния ведущих транснациональных корпораций, победное шествие западной, прежде всего американской, масс-культуры по странам и континентам и т. д.) свидетельствуют об обратном. Однако по

¹⁵ Имеется в виду, конечно, упадок традиционного христианства — без различия конфессий — как духовной силы, оказывающей реальное влияние на общественное сознание и тем самым творящей историю. Что касается политического и финансового влияния отдельных церквей, в первую очередь римско-католической, то оно в описываемую эпоху не только не снизилось, но и парадоксальным образом заметно возросло. Подробнее см., напр.: Гергей Е. История папства. М. 1996. С. 392—454.

меньшей мере три фактора, сила которых пока не проявилась в полной мере, делают могущество евроамериканской цивилизации иллюзорным. Первый из них – международный терроризм, показавший, что враждебные Западу сообщества в состоянии нанести ему существенный урон, невзирая на колоссальное военно-техническое и экономическое превосходство западных стран. Второй – демографический кризис¹⁶, быстро превращающий евроамериканский мир в вымирающую цивилизацию. Наконец, третий фактор – особенности современной посттоталитарной демократии, которые делают ее ахиллесовой пятой Запада¹⁷.

Нынешняя массовая демократия отличается от той, что существовала 70–100 лет назад в Западной Европе и США (и какой-то, пусть очень короткий промежуток времени также в России), прежде всего самой структурой масс. «Активистская», пользуясь терминологией Н. О’Салливана, масса сменилась массой *рассеянной*. Общество рассыпается, атомизируется, четкая социальная структура, характерная еще для 50-х – 60-х гг. прошлого века, расплывается, сменяясь мозаикой, контуры элементов которой, в свою очередь, изменчивы и нечетки. Региональные, этнокультурные, демографические различия между отдельными группами общества зачастую становятся более заметными и существенными, нежели различия социальные. Размываются критерии идентичности того или иного социального слоя. (В этом смысле очень показательна дискуссия о «среднем классе», которая активно велась в России в середине 90-х, поутихла после кризиса 1998 г. и с новой силой возобновилась сейчас). Одновременно растет отчуждение индивида от общества, происходит фактический распад многих социальных структур. Известный журналист Виталий Третьяков заметил в ходе дискуссии о массовом обществе в современной России: «Общая идея, общая система ценностей, общие духовные нормы – всего этого в России нет. Вместо этого мы имеем предельно атомизированное, фрагментарное и массовое социальное образование»¹⁸. Наблюдение верное – с той поправкой, что относится оно

¹⁶ По прогнозам ООН, в 2050 г. в Европе будет проживать чуть более 600 млн. чел. (в настоящее время – 725 млн.). Население Северной Америки хотя и вырастет с 320 до 438 млн., общее соотношение жителей развитых и развивающихся стран будет еще более неутешительным, чем сегодня: соответственно 1196 и 5015 млн. чел. в 2002 г., 1181 и 8141 млн. в 2050 г. К тому же около половины популяции в Европе, Канаде и США к середине XXI века будут составлять люди в возрасте старше 60 лет. (Данные приводятся по сообщению агентства Рейтер за 3.12.2002).

¹⁷ Говоря о Западе после 1991 г., автор имеет в виду всю евроамериканскую цивилизацию, в том числе Россию и большую часть постсоветского пространства, – за исключением, пожалуй, республик Средней Азии, относящихся к иному цивилизационному ареалу. При всей неоднородности этой цивилизации (которую, наверное, правильнее называть уже не Западом, а Севером, учитывая ее положение на карте мира), все составляющие ее народы, государства и регионы связаны общим культурно-цивилизационным фундаментом, ведущим свое происхождение от античного мира и сменившей его христианской цивилизации. Применительно к России такой подход представляется мне куда более обоснованным, нежели вновь вошедшее в моду в последние годы евразийство. (При этом включение России и государств СНГ в рамки евроамериканской цивилизации, конечно, не означает отрицания глубокого исторического, культурного и социально-психологического своеобразия этих стран).

¹⁸ См.: «Массовое общество» как «круглый квадрат» // «Русский журнал», 3.07.2002.

не только к России, но и к абсолютному большинству стран Европы и (в несколько меньшей степени) к США¹⁹.

Нечеткость политической структуры современного западного общества соответствует размытости его социальной структуры. Особенно ярко отразились эти изменения на роли политических партий, издавна являющихся важной деталью механизма демократии. На смену партиям либерально-демократической эпохи, представлявшим интересы конкретных социальных слоев и групп, и партиям тоталитарного типа, мобилизовавшим массы и подчинявшим их своим вождям, пришли довольно аморфные группировки, для которых западные политологи придумали точное название *catch-all parties* («партии, охотящиеся на всех»). Это объединения прагматиков, которые ориентируются не на какие-то определенные слои общества, а на общество в целом, и отказываются от четкой идеологической окраски – формально, впрочем, продолжая рядиться в одежды «правых» и «левых». В действительности же они все чаще отличаются друг от друга разве что методами проведения PR-кампаний²⁰. «Респектабельная» западная политика стремительно деидеологизируется. Соперничество между демократами и республиканцами в США, лейбористами и консерваторами в Великобритании, социалистами и голлистами во Франции, социал-демократами и христианскими демократами в Германии – это уже не противостояние мировоззрений, как несколько десятилетий назад, а всего лишь дискуссии по частным вопросам, пусть порой и довольно существенным – о процентной ставке подоходного налога, иммиграционной политике, участии в американской операции в Ираке и т. д.

Изменился и сам психологический тип политического деятеля. Вместо политиков-кондотьеров эпохи ранней демократии, политиков-бойцов времен демократии либеральной (можно вспомнить Бисмарка и Гамбетту, Клемансо и Черчилля), политиков-вождей периода тоталитаризма сегодня мы имеем дело с политиками-товарами, главная задача которых – удачно продать себя рассеянным массам эпохи постмодерна, которые «приобретают» на выборах президентов, премьер-министров и депутатов примерно так же, как в супермаркетах они покупают попкорн, пиво и памперсы для младенцев. Имидж становится решающим фактором в карьере отдельных политиков, партий и группировок. А те политические силы, которые не отказыва-

¹⁹ О растущем взаимном отчуждении американцев свидетельствуют данные социологов Р. Патнэма и Т. Уильямсона: если в середине 70-х гг. житель США принимал участие в среднем в 12 общественных акциях в год, то в 1999 г. – всего лишь в 5. В 1975 г. 7% американцев участвовали в работе той или иной общественной организации, 25 лет спустя – только 3%. Посещаемость богослужений в США снизилась по сравнению с серединой 70-х примерно на 12%, а в гости друг к другу американцы теперь ходят на целых 45% реже, чем четверть века назад. (Подробнее см.: Шимов Я. Политика и обыватели // «Русский журнал», 22.11.2000).

²⁰ В современной России эту тенденцию отражают многочисленные «партии власти», создаваемые как в 90-е гг., так и в настоящее время – «Наш дом – Россия», «Отечество», «Единство», нынешняя «Единая Россия». Их характерные черты – идеологическая безликость, почему-то характеризующаяся как «центризм», и стремление найти поддержку у самых широких слоев населения. Российской спецификой, отличающей отечественные «партии власти» от зарубежных *catch-all parties*, является их политическая зависимость от структур исполнительной власти (на Западе можно говорить скорее о связях ведущих политических сил с крупным бизнесом) и широкое использование в предвыборной борьбе «административного ресурса».

ются от идеологической определенности, выталкиваются истеблишментом, к которому в наше время принадлежат и влиятельные СМИ, на обочину политической жизни. Их преподносят общественному мнению как маргиналов, не заслуживающих доверия и даже угрожающих национальным интересам и/или существованию демократии (Национальный фронт и компартия во Франции, Партия свободы в Австрии, Партия реформ Росса Перо в начале 90-х гг. в США и т. д.)²¹

Превращение одной из отраслей рекламного бизнеса — так называемых «политических технологий» — в важную составляющую политической жизни свидетельствует о том, что политика окончательно становится видом предпринимательства. Этому способствует и тесное срастание политического истеблишмента с деловой средой: в России — в виде уродливого «олигархического» капитализма, в США и Западной Европе — в более благопристойной, завуалированной форме лоббирования политических интересов военно-промышленного комплекса, нефтяного бизнеса, сферы высоких технологий и т.п. на самых высоких этажах государственной власти. Возникает *картель*²² — система тесных клиентелистских связей, лоббизма и взаимной поддержки, выгодная как «капитанам бизнеса», так и политической элите, и высшим эшелонам бюрократии. Недавние скандалы вокруг корпорации «Энрон» и других крупных компаний в Америке — пример сбоев в работе картельного механизма, которые позволяют общественности хотя бы краем глаза заглянуть за кулисы современной демократии.

При этом ни одна из групп интересов, участвующих в политической борьбе в странах западного мира, уже не стремится ко всей полноте власти в обществе. Сложность и вместе с тем неопределенность сложившейся социальной структуры ведет к тому, что эффективный контроль за ней, осуществляемый из одного центра, становится практически невозможен. Поэтому компромисс, как когда-то во времена ранней демократии, необходим правящей элите. Для его достижения важно отсутствие в обществе очагов напряженности, представляющих серьезную угрозу элите, следовательно — формальный учет интересов как можно большего числа элементов социальной мозаики (при том, что, как и в любом обществе, удовлетворены будут в первую очередь интересы элиты). Эта задача облегчается благодаря определенной унификации жизненных стандартов в современном консьюмеристском об-

²¹ Россия — не исключение и в этом отношении. Если КПРФ начиная со второй половины 90-х гг. понемногу превращается в «системную» оппозицию, т. е. составную часть истеблишмента, то другие коммунистические и националистические организации выталкиваются за пределы «респектабельной» политики. На противоположном фланге политического спектра нечто подобное происходит с «Яблоком», «Либеральной Россией» и другими организациями, не вписывающимися в концепцию искусственного создания двух-трехпартийной системы, практически открыто провозглашенную Кремлем.

²² Термин «картель» введен западными политологами, исследовавшими в середине 90-х гг. феномен все более тесного срастания политических партий с государственными и бизнес-структурами в условиях современной демократии: «...Образуется картель партий, в котором партии конкурируют между собой, но лишь в рамках пространства, ограниченного их общими интересами... Все меньшим становится влияние отдельного избирателя, гражданина, на итоговую политику правительства» (P. Mair, R. Katz. The Emergence of the Cartel Party // Party Politics. 1995. Vol. 1. #1. Pp. 5–28).

ществе, хотя данный процесс пока не зашел так далеко, как об этом пишут многие левые публицисты из «антиглобалистского» лагеря.

Итак, в условиях посттоталитарной демократии репрезентативность вновь берет верх над общими ценностями – причем этот ее «реванш» приобретает устрашающие масштабы в силу невиданной ранее культурной разнородности западного общества. Современная демократия, отказываясь от традиционных идеологий, мешающих достижению компромисса, берет на вооружение доктрину мультикультурализма – эту эрзац-идеологию нынешней эпохи.

Перспективы демократии

Смешение наций и культур стало одной из основных характеристик современного мира. Однако восприятие этого феномена как неизбежного следствия глобализации и верно, и обманчиво. Верно – потому, что интенсификация хозяйственного и информационного обмена между разными регионами мира и вызванная этими явлениями унификация стандартов производства и потребления приводят к определенному сближению разных цивилизаций, которые начинают в каком-то смысле разговаривать на одном языке. Обманчиво – сразу по нескольким причинам. Во-первых, глобализация не тождественна межкультурному диалогу, а наоборот, является монологом, т.к. ее основой служат западные изобретения и технологии, западная экономическая модель, западные материальные и культурные стандарты. Во-вторых, в большинстве незападных обществ глобализация затронула лишь незначительную часть населения, большинство же сохраняет верность традиционной культуре. В-третьих, даже там, где глобализация вроде бы «шагнула в массы» и где материальные стандарты приблизились к западным (например, в наиболее развитых странах Дальнего Востока – так называемых «азиатских тиграх»), традиционный культурный фундамент остался фактически нетронутым. Иными словами, арабские или южнокорейские ребята могут с удовольствием лакомиться гамбургерами или играть в футбол, но от этого они не перестанут быть арабами или южнокорейцами, а многие из них при этом не избавятся от внушенного с детства глубокого недоверия к Западу и ненависти к США²³.

Таким образом, глобализация – в значительно большей степени особенность развития западной цивилизации в последние полтора-два десятилетия, нежели действительно мировое явление. Более того: западный мир куда сильнее «глобализировался», т. е. подвергся влиянию иных культур, нежели остальные цивилизации. Чтобы убедиться в этом, достаточно побывать в любом крупном западном городе, который превратился в колоссальное мультикультурное сообщество. Сам по себе этот факт нельзя оценить позитивно или негативно. Тревогу вызывает лишь то, что в условиях смешения культур проблема сохранения идентичности евроамериканской цивилиза-

²³ Наиболее здравомыслящие западные интеллектуалы вполне отдают себе в этом отчет. См., напр.: S. P. Huntington. The Lonely Superpower // Foreign Affairs. March – April 1999. Vol. 78. #2. Pp. 35–49.

ции очень далека от удовлетворительного решения. Вероятно, при современной посттоталитарной демократии она и не может быть решена. Ориентация правящей элиты современного Запада на компромисс, т. е. репрезентативность в ущерб общим ценностям, ведет к тому, что социальная структура начинает распадаться на отдельные фрагменты, каждому из которых позволено развиваться по своим законам. Как справедливо заметил один современный автор, «мультикультурализм... блокирует демократический плюрализм, подменяя гражданское общество совокупностью автономных и конкурирующих друг с другом «культурных сообществ»²⁴.

Вот только один пример: по данным газеты «Берлинер цайтунг», не менее 35% школьников из семей турок-иммигрантов, живущих в Берлине, очень слабо знакомы с немецким языком или вовсе не знают его. Эти дети растут в чисто турецкой языковой и культурной среде, ходят в турецкие (нередко исламские) школы и, находясь в Германии, подпадая под действие ее законов, располагая видом на постоянное жительство, а то и гражданством ФРГ, фактически живут в Турции, будучи абсолютно чуждыми стране проживания. Неудивительно, что традиции, привычки, правовая культура иммигрантов, обитающих в таких «инокультурных анклавах», которые распространились по всему западному миру, то и дело вступают в противоречие с традициями, привычками, правовой культурой коренного населения. В США ситуация смягчается наличием политического, государственно-правового и духовного фундамента американского общества, заложенного когда-то «отцами-основателями» — хотя и этот фундамент уже подвергся сильной эрозии. В Европе же проблема взаимодействия разных культур не может быть решена до тех пор, пока посттоталитарная демократия считает необходимым поддерживать автономность инокультурных элементов под предлогом защиты прав и свобод меньшинств.

Такая «защита» представляется сторонникам мультикультурализма естественным способом обеспечения репрезентативности демократии и тем самым — достижения всеобщего компромисса. В действительности же благодаря почти полному отказу от общих ценностей ускоряется распад структур общества, обостряется социальная напряженность (нищета и преступность в иммигрантских кварталах, межнациональные конфликты и проч.), растет популярность экстремистских сил, предлагающих упрощенные методы решения проблемы — за счет возврата к ксенофобским идеологиям тоталитарного типа. Вместо желанного компромисса современная демократия, основанная на принципе мультикультурализма и защиты прав человека, перерастающей в защиту вседозволенности²⁵, ведет к обратному результату — росту конфликтности в обществе, которое быстро утрачивает свою идентичность и превращается в конгломерат нестабильных человеческих сообществ, свя-

²⁴ Малахов В. Культурный плюрализм versus мультикультурализм // Скромное обаяние расизма и другие статьи. М. 2001. С. 166.

²⁵ Свежий пример — недавнее решение парламента Швеции, который не только уравнил в юридическом отношении гомосексуальное партнерство и традиционный брак (подобные законы действуют уже в целом ряде европейских стран), но и предоставил гомосексуальным парам право усыновлять детей, т. е., по сути дела, право на своеобразное «воспроизводство».

занных между собой в лучшем случае товарно-денежными отношениями, цепочками производства и потребления.

Самое занятное, что при этом большая часть западного истеблишмента, как либерального, так и консервативного (впрочем, разница между ними в условиях современной демократии, как уже говорилось, быстро стирается), свято верит в «прогрессивный» и универсальный характер современных социально-политических практик евроамериканской цивилизации. Я намеренно пишу о *социально-политических практиках*, избегая слова «ценности», поскольку ни мультикультурализм, ни права человека в их нынешней западной версии подлинными духовными и социальными ценностями не являются — хотя бы в силу крайней непоследовательности в применении и трактовке этих понятий. Любым ценностям как составной части того или иного целостного мировоззрения чужд релятивизм, в то время как псевдоценности современной демократии мимикрируют в зависимости от конкретной политической ситуации. Так, сторонники мультикультурализма, защиты этнического, культурного, религиозного разнообразия и прав меньшинств в Европе и Северной Америке в то же время с удовольствием рассуждают о пользе демократизации незападных обществ²⁶ и универсальном характере демократии и прав человека (опять-таки в их западном толковании). Таким образом, целым цивилизациям, в частности, исламскому миру, отказывают в праве на самоорганизацию, т. е. жизнь в соответствии с собственными законами и традициями — том самом праве, на защиту которого становятся те же самые люди, как только речь заходит об инокультурных анклавах на Западе! Подобным образом обстоят дела и с правами человека. «Права человека, свободы и человеческая справедливость... должны быть правами глобальными или же они — вообще не права», — утверждает либеральная американская публицистка²⁷. Однако отношение западного политического истеблишмента и большей части общественности к любому из крупных конфликтов последнего времени, будь то Косово, Чечня или Ирак, является вопиющей демонстрацией двойных стандартов. К примеру, права 600 тысяч албанцев, изгоняемых из Косово югославской армией, защищаются всей мощью НАТО, а права 200 тысяч сербов, впоследствии изгнанных из того же Косово победоносными албанцами, не ставятся ни в грош. Понятно, что в такой ситуации права человека являются не высшей ценностью, а всего лишь политическим инструментом.

Что же касается подлинных ценностей, то их западной цивилизации катастрофически не хватает. После крушения тоталитарных режимов с их всеподавляющим идеологическим контролем маятник демократии, вечно колеблющийся между репрезентативностью и общими ценностями, качнулся

²⁶ Так, в номере «Нью-Йорк таймс» от 27 ноября 2002 г. можно прочесть следующие рассуждения М. Мак-Фола, доцента политологии Стэнфордского университета, о перспективах демократизации Ближнего Востока: «Всем известно ныне уже ставшее классическим утверждение о том, что НАТО принесло мир измученному войнами континенту (Европе — Я. Ш.), позвав туда американцев, подавив немцев и изгнав русских. Подобный альянс на Ближнем Востоке, возможно, также приведет в этот регион американцев, подавит диктаторские режимы и покончит с террористами». Пример простоты, которая действительно хуже воровства.

²⁷ Бак-Морс С. Глобальная публичная сфера? // «Синий диван» (журнал заметок и размышлений). 2002. № 1. С. 38.

в сторону первой — и, похоже, улетел слишком далеко. Увлечшись погоней за репрезентативностью, компромиссами и социальным миром, Запад оказался на грани утраты собственной идентичности. Фактически единство западной цивилизации до сих пор сохраняется лишь благодаря, во-первых, сложной системе отношений производства и потребления, созданной современным капитализмом, и во-вторых, могуществу бюрократии, которая играет роль основного связующего звена между «картельной» элитой и аморфным атомизированным большинством общества. В последние годы все ярче проявляется тревожная тенденция к централизации бюрократического аппарата — в США (создание колоссального Department for Homeland Security²⁸), Западной Европе (непрерывное расширение полномочий Европейской комиссии и других институтов ЕС и в России (административное укрепление «вертикали власти»). Таким образом, атомизация общества и распад социальных структур «уравновешивается» ростом бюрократического централизма и постепенным перерастанием посттоталитарной демократии в деидеологизированную технократическую диктатуру, которая, став она реальностью, означала бы конец всякой, даже плохонькой демократии.

Есть ли реальная альтернатива такому развитию событий? Трудно сказать, тем более что составление рецептов всеобщего счастья — занятие не столько наивное, сколько опасное. Стоит отметить лишь, что у западного мира есть в наличии многое необходимое для появления такой альтернативы: та часть его исторического и культурного наследия, которая связана с христианской моралью, правовым сознанием и уникальным сочетанием индивидуализма и солидарности, не раз проявлявшимся в кризисных ситуациях. Среди практических мер, которые могли бы влить свежую кровь в жилы Запада, можно назвать:

децентрализацию власти, способную сблизить политику и индивида — путем переноса политического центра тяжести с национального и даже наднационального на региональный и местный уровень;

ликвидацию автономных инокультурных анклавов за счет продуманной и жесткой политики натурализации и ассимиляции иммигрантов;

здоровый изоляционизм, т. е. замену ложного идеала всемирной демократизации и безраздельного духовного господства Запада задачами реальной политики, направленной на защиту интересов западных стран и евроамериканского мира в целом, борьбу с новыми глобальными угрозами, ликвидацию наиболее вопиющих социально-экономических, демографических, экологических и иных диспропорций в разных регионах мира и т. д.

Иными словами, речь идет не о глобальном торжестве «общечеловеческих ценностей» — голубой мечте западных либералов, и не о «крестовом походе» против всех несогласных с ролью Запада как мирового жандарма (к че-

²⁸ Министерство национальной безопасности, образовано в 2002 г. распоряжением президента США Дж. Буша-младшего с целью усиления эффективности борьбы с терроризмом и иными факторами, угрожающими стабильности страны. Выполняет функции более чем 30 прежних государственных служб, агентств и ведомств. Руководитель — бывший губернатор штата Пенсильвания Т. Ридж.

му призывают радикальные консерваторы), а об *активной обороне* евроамериканской цивилизации. Такая оборона может быть успешной лишь в случае отказа западного общества от современной посттоталитарной демократии.

Есть и другие соображения — некоторыми из них делится футуролог Игорь Бестужев-Лада: «Для победы нужна колоссальная политическая воля, новый де Голль или Черчилль... Но этого мало. Должен радикально измениться наш образ жизни... Во-первых, культ труда — труд как самоцель, как молитва Богу. Во-вторых — культ семьи. Тогда восстановится и демографический баланс в мире»²⁹. Возможно, призывы к такому «неопуританству» прозвучат для кого-то наивно и даже ханжески, однако они вполне обоснованы с философской точки зрения. Дело в том, что вся история массовой демократии, начиная со времен французской революции, есть в определенном смысле история человеческого эгоцентризма. Человек как центр мироздания, человек, самостоятельно определяющий свою судьбу и меняющий облик общества с целью добиться идеала уже здесь, на земле, человек как мера всех вещей — вот единственное подлинное основание массовой демократии, при всем различии между ее типами. Именно здесь, вероятно, следует искать причины кризиса демократического строя и всей евроамериканской цивилизации. И именно в новом, менее эгоистическом, более реалистичном и, если угодно, смиренном взгляде западного человека на себя, Бога и мир кроется надежда на преодоление кризиса. Но даже если эта надежда напрасна, у мыслящего человека остается выход, подсказанный когда-то Антонио Грамши: «Пессимизм интеллекта, оптимизм воли».

²⁹ Сценарии будущего // «Итоги». 2002. № 48.

ЯРОСЛАВ ШИМОВ

Восход Европы? Расширение Европейского союза: вопросов больше, чем ответов

1 мая 2004 года десять стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и Средиземноморья¹ обретут статус полноправных членов Европейского союза. Однако этот день вряд ли станет днем рождения единой Европы в том виде, в каком о ней некогда говорили пионеры современной европейской идеи — такие, как Жан Монне и Робер Шуман. Во-первых, «большая Европа от Атлантики до Урала» и сегодня остается такой же утопией, как во времена Шарля де Голля, который ввел это выражение в европейский политический лексикон. Восток и юго-восток Европы, т.е. бывший СССР (за исключением Прибалтики) и балканский регион, или в незначительной степени участвуют в процессе европейской интеграции, или развивают собственные интеграционные проекты (СНГ, ГУУАМ, Евразийское экономическое сообщество и др.). Часть этих проектов выходит за рамки Европы и носит евразийский характер (уже упомянутое ЕвразЭС, Договор о коллективной безопасности стран СНГ, Шанхайская организация сотрудничества и проч.). Проблемы во взаимоотношениях ЕС, России и других постсоветских стран (калининградский вопрос, ситуация с визовым режимом для россиян в странах Шенгенской зоны и проч.) заставляют задуматься о том, не возникнет ли в ближайшие годы вместо рухнувшего «железного занавеса» другой, менее жесткий барьер, так сказать, «ватный занавес», отделяющий интегрированное пространство Евросоюза от его восточных соседей?

Во-вторых, сам евросоюзовский проект — это скорее набор вопросов, нежели ответов. В декларации Европейского Конвента, подготовившего проект конституции ЕС, сформулированы как эти вопросы, так и предполагаемые цели европейской интеграции: «Союз собирается расширяться, вобрав в себя десять новых членов — преимущественно центрально- и восточноевропейские страны. Тем самым будет положен конец одной из самых темных глав в истории континента. Европа наконец находится на пути к превращению в единое целое, членов которого объединяют общие ценности, надеж-

¹ Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония.

ды, проекты, правила и институты... Для того, чтобы это произошло, необходимо дать ответы на следующие базовые вопросы:

Каково должно быть разделение полномочий между органами Союза и государствами-членами?

Как лучше определить задачи отдельных европейских институтов?

Как добиться единства и эффективности внешних сношений Союза?

Как усилить демократический правовой порядок в рамках Союза?»²

На самом деле этих вопросов гораздо больше. Их, на мой взгляд, можно разбить на несколько групп. Первая касается базовых ценностей, которые должны составить идейный, моральный и социально-психологический фундамент современной европейской цивилизации, на роль ядра которой, очевидно, претендует Европейский союз. Вторая группа относится к взаимоотношениям отдельных стран и регионов в рамках «расширенного» ЕС, в первую очередь — к тому, как будет проходить взаимная экономическая, политическая и культурно-психологическая «притирка» старых и новых членов Союза. Третья группа вопросов относится к временным и пространственным границам самого процесса расширения. Иными словами, придут ли вслед за нынешней новые волны экспансии ЕС на восток и юг и какие страны они будут включать? Каковы будут отношения между частью Европы, интегрированной в рамках ЕС, и наиболее крупными государствами, которые в обозримом будущем, судя по всему, останутся за пределами этого пространства, — в первую очередь Россией, Украиной и Турцией? Наконец, четвертая группа — это вопросы об обоснованности и реализуемости претензий новой Европы на роль самостоятельного (или по крайней мере автономного) геополитического центра мирового значения, а значит — о перспективах взаимоотношений Европы и США, Европы и России, Европы и стран Ближнего Востока...

В этой статье содержится краткий и, несомненно, неполный анализ перечисленных проблем в историческом контексте и делается попытка дать предварительные ответы на некоторые из поставленных вопросов.

На том стоим! А на чем, собственно?

В Европе давно уже идут довольно бурные дискуссии относительно того, что именно считать наследием Старого Света, на какие культурно-исторические, в том числе религиозные, традиции должна опираться объединенная Европа и каким образом отразить их в основополагающих документах ЕС. Выяснилось, что единого мнения по этой проблеме пока нет. Должен ли, скажем, в новой конституции, где как раз и говорится об общих ценностях европейцев, к примеру, быть упомянут Бог? Пойдет ли там речь о христианской религии как важной составной части духовного наследия Европы? По данным социологических опросов, христианской считает европейскую цивилизацию и большая часть населения в странах, где религия и церковь по-прежнему являются существенными элементами общественной жизни — Испании, Италии, Польше, Венгрии, Греции, южных землях ФРГ... В то же время представители более либеральных стран — Великобритании, Франции,

² What are the issues? Declaration of the European Convention.

Нидерландов, Бельгии, Дании — полагают, что современная Европа настолько разнородна, а мультикультурализм стал до такой степени неотъемлемой ее чертой, что опираться на христианскую традицию означает противопоставлять друг другу «старых» и «новых» европейцев. К тому же в самом христианстве вот уже тысячу лет нет единства, а если учесть тот факт, что в ворота Евросоюза все настойчивее стучится мусульманская Турция, то картина получается и вовсе запутанная.

Не секрет, что нынешняя Европа весьма разнородна, и задача определить ее культурно-историческое наследие крайне нелегка. Есть сразу несколько духовных и социальных традиций, лежащих в основе современных европейских ценностей. Это, во-первых, демократия, ведущая свою родословную от античных греческих полисов, во-вторых, христианство и в-третьих — берущие начало в эпоху Просвещения либеральные идеи индивидуальной свободы и прав человека. Можно, конечно, спорить о том, насколько сочетательно все вышеперечисленное и если да, то в каких пропорциях, а также о том, много ли общего имеет сегодняшняя Европа с древними Афинами, Западом времен крестовых походов или Францией эпохи Вольтера. Не стоит забывать и о «священном праве частной собственности» — ведь именно оно, по мнению некоторых историков, в общем-то, сделало Европу Европой: «...Европейский путь развития — это чередование структурных модификаций (античная, феодальная, капиталистическая), при которых частнособственническая активность, хотя временами, в первые века феодализма, и отступавшая, в конечном счете была ведущей и структурообразующей. Именно господство частной собственности, огражденное системой соответствующих политических, правовых и социокультурных институтов, породило капитализм и тем заложило основу бурного экономического развития не только Европы, но и всего мира..., когда неевропейские страны были втянуты капиталистической Европой в единое мировое рыночное хозяйство со всеми вытекающими отсюда последствиями»³. Но главное, на мой взгляд, не это. Ведь любое рассуждение о ценностях того или иного сообщества предполагает наличие у данного сообщества собственной идентичности, его пусть относительную, но целостность (которая далеко не всегда отрицает разнородность). Можно ли говорить о такой целостности и идентичности применительно к современной Европе? Является ли сегодня Европа еще чем-то, кроме географического понятия?

Несколько лет назад, занимаясь проблемой специфики европейского исторического пути, автор этих строк отмечал постоянное чередование в истории Старого Света двух моделей общественного порядка, условно названных «тезисом» и «антитезисом». На протяжении по меньшей мере последних полутора тысяч лет в Европе происходит «чередование «тезисных» и «антитезисных» эпох; обе модели каждый раз предстают в новом институциональном облике, но довольно легко распознать их «кровное» родство или с антично-ренессансной (рационалистической, индивидуалистической и конкурентной), или со средневековой (религиозной, коллективистской и иерархической) моделью... Между эпохами «тезисной» и «антитезисной»

³ Л. С. Васильев. История Востока. М., 1998. Т. 1. С. 18.

упорядоченности лежали более или менее долгие переходные периоды, когда элементы обеих моделей социального порядка сосуществовали и конкурировали... Европейская цивилизация переживала очередную эпоху хаоса, из которого со временем рождался новый — «тезисный» или «антитезисный» — порядок⁴. В настоящее время Европа, судя по всему, находится именно в таком периоде «креативного хаоса», в недрах которого зреет новый порядок.

«Трехтактный двигатель» европейского исторического развития (две антагонистические модели социальной упорядоченности плюс соединяющий их «креативный хаос») придал Европе несколько парадоксальную по сути цивилизационную целостность. Вне всякого сомнения, сегодня, как вчера и позавчера, Европа — нечто гораздо большее, чем нагромождение крупных, средних и мелких народов и государств в западной части евразийского материка. Однако именно сейчас разработка общеевропейских ценностей представляется попыткой поставить телегу впереди лошади: такие ценности сформируются лишь по мере того, как новый европейский порядок станет реальностью. Эти ценности, несомненно, вберут в себя многое из прошлого, однако сочетание элементов нового и старого в грядущей мозаике новой Европы неизбежно окажется уникальным и неповторимым. Пока же на протяжении десяти с лишним лет (с момента крушения социалистического лагеря, с одной стороны, и подписания Маастрихтского договора, резко ускорившего темпы западноевропейской интеграции, — с другой) на пространстве от Атлантики до Урала протекают разнообразные и разнонаправленные процессы, под влиянием которых постепенно вырисовывается облик Европы XXI века. Эти процессы далеко не всегда стихийны по своей природе, их зачастую можно и нужно корректировать. Но такая корректировка вряд ли может происходить в рамках заданных «сверху» ценностных установок. Нынешняя Европа еще решает, какой она будет. Это во многом зависит от того, насколько успешным окажется сращивание тех частей Старого Света, которые в силу обстоятельств были разделены на протяжении целых исторических эпох.

Долгая история раскола Европы

Фактически расширение ЕС означает первую за многие века попытку преодолеть глубокий раскол между западом Европы, с одной стороны, и ее центром, востоком и юго-востоком — с другой. История этого раскола насчитывает без малого тысячу лет, если брать в качестве точки отсчета 1054 год — окончательное оформление церковной схизмы между западным и восточным христианством, католицизмом и православием. Однако в значительно большей степени, чем религиозные распри, «творцами» разделения Европы явились воинственные кочевые народы, вторгавшиеся в нее из азиатских степей. Некоторые из них, например, гунны, потерпев военное поражение, растворились во мгле раннего средневековья, другие (венгры) переняли христианскую религию, культуру, основы социального строя и стали европейцами, третьи же — монголы и турки-османы, — утвердившись на ок-

⁴ Я. Шимов. «Миф о спасителе» и социальная эволюция // Свободная мысль, 2000. № 7. С. 24–25.

раинах Европы, оказали сильное и по преимуществу негативное влияние на ее дальнейшую судьбу. Именно с XIII–XV веков, т.е. со времени монгольского и турецкого вторжений, начинает нарастать разрыв между западом и востоком Европы, увеличиваются экономические, политические, социокультурные различия, которых раннее средневековье не знало⁵.

В результате сложилась ситуация, при которой относительное благополучие Западной Европы на протяжении многих веков, как заметил Фернан Бродель, «охранялось баррикадой Восточной Европы, а его (Запада – Я.Ш.) мир покупался ценой страданий ее жителей»⁶. Новое время застало старый континент разделенным. Ни формирование в XVI–XVII вв. центральноевропейской монархии Габсбургов, ни оттеснение турок за Дунай в начале XVIII века, ни превращение в ту же эпоху России в европейскую (хотя бы с точки зрения геополитики) державу не могли изменить баланс сил в пользу центра и востока Европы. Этот регион, преимущественно аграрный, сильно отставал от индустриально-торгового Запада. Помимо разницы экономической, обе части Европы разделяла и несхожесть политического строя. Она стала особенно очевидной после Великой французской революции и эпохи наполеоновских войн, когда Старый Свет разделился на либеральный во главе с Британией и Францией и авторитарный, ядром которого был «Священный союз» консервативных Австрии, России и Пруссии.

XIX век стал столетием национализма, но и к понятию «народ», «нация» в разных частях Европы подходили по-разному. Если на Западе возобладало представление о политической nation, объединяющей граждан одного государства (чему способствовал тот факт, что государства в западной части Европы сложились как правило в эпоху, предшествующую формированию современных наций), то в Центральной и Восточной Европе верх взяла философия национал-романтизма Гердера, Фихте и Шеллинга. Как отмечает оксфордский профессор, чех по происхождению Збынек Земан, эта философия «не рассматривала формирование нации как сложный процесс, в рамках которого особая роль принадлежит усилению центральной власти, созданию единого экономического пространства, развитию... общей коллективной памяти»⁷, а предпочитала оперировать полумистическими понятиями «крови и почвы», считая нацию неким высшим даром, средством реализации определенной миссии, которую Провидение дает каждому народу. Как говорилось в уставе организации «Молодая Европа», объединявшей в 30-е гг. XIX в. тайные революционно-националистические общества ряда европейских стран, «у каждого человека есть собственное предназначение, которое объе-

⁵ В качестве примера политического единства Европы перед монгольским нашествием часто приводят династическую политику Ярослава Мудрого, отдавшего своих дочерей в жены королям Франции и Норвегии и одному из польских князей. В действительности русские княжества той эпохи, особенно Галицко-Волынское, Полоцкое и некоторые другие, были связаны с Западной Европой целой сетью династических браков, военно-политических и торговых соглашений.

⁶ Цит. по: Capitalism and Material Life, 1400–1800. London, 1979. P. 57.

⁷ Z. Zeman. Vzestup a pád komunistické Evropy. Praha, 1998. S. 31.

⁸ См.: Э. Хобсбаум. Век революции, 1789–1848. Ростов-н-Д., 1999. С. 187.

динится с миссией всего человечества. Эта миссия и определяет его национальность. Национальность — это святое»⁸.

Несмотря на смену исторических обстоятельств, такой подход к проблеме формирования наций сохранился в центре и на востоке Европы и в XX столетии. Этому способствовало постепенное «дозревание» самосознания многих народов региона, которые намного позже, чем их западные собратья, встали на путь национально-культурного, а затем и государственно-политического самоопределения. Национализм явился одной из главных причин обеих мировых войн. Он же, стимулируя и концентрируя усилия отдельных наций на задачах государственного строительства и экономической модернизации (пример — превращение Германии в мировую державу в конце XIX — начале XX вв.), в то же время препятствовал реализации интеграционных начинаний, которые могли бы способствовать преодолению европейского раскола. Так, проект *Mittleuropa*⁹, выдвинутый в 1915 году немецким социологом, экономистом и политиком Фридрихом Науманом, предполагал теснейший экономический союз и взаимодействие стран и народов «на пространстве между Вислой и Вогезами, Галицией и Боденским озером». При этом Науман подчеркивал, что речь идет о создании не некой суперимперии, а «союза существующих государств... Решающими, ответственными носителями развития... остаются заключающие договор современные суверенные государства. Они делают друг другу взаимные уступки, однако... не прекращают быть субъектами будущих совместных действий»¹⁰. Но уже шла мировая война, и в ее контексте *Mittleuropa* могла восприниматься только как средство увековечивания германской гегемонии в центральноевропейском регионе, а в перспективе — и во всей континентальной Европе.

Главным геополитическим итогом Первой мировой стала победа запада Европы при поддержке неевропейской державы (США) не только над ее центром (Германия была разбита и поставлена на колени Версальским миром, Австро-Венгрия перестала существовать), но и над востоком в лице России. Последняя, хоть и вступила в войну на стороне будущих победителей, в результате большевистской революции оказалась среди побежденных, став «страной-изгоем». Однако победа Запада была пирровой. Созданная им в Центральной Европе «Версальская система» небольших государств, связанных союзными договорами как с Францией и Британией, так и между собой, не сумела ни предотвратить геополитическое возрождение Германии, ни стать эффективным барьером на пути большевизма. Порочность «Версальской системы» заключалась в том, что она не преодолевалась, а наоборот — углубляла политический раскол Европы. Раскол экономический также оставался весьма глубоким, т.к. в межвоенный период не было принято никаких существенных мер по интеграции европейского хозяйственного пространства. Напротив, Великая депрессия начала 30-х гг. до осно-

⁹ В российской историографии название этого проекта и одноименной книги Ф. Наумана, в которой он был изложен, принято переводить как «Срединная Европа» — очевидно, во избежание путаницы с политико-географическими понятиями «Центральная Европа» и «Средняя Европа».

¹⁰ Цит. по: Б. М. Туполев. «Срединная Европа» в экспансионистских планах германского империализма накануне и во время первой мировой войны. В сб.: Первая мировая война: пролог XX века. М., 1998. С. 116.

вания потрясла экономику Старого Света. Следствием всех этих негативных процессов стал подъем новой, четвертой¹¹ волны национализма и в конечном итоге – Вторая мировая война. Здесь мы вступаем на порог эпохи, которую можно считать современностью.

Живая и мертвая вода интеграции

Результатом Второй мировой явилась, видимо, окончательная утрата Европой роли главного геополитического центра планеты и разделение Старого Света на сферы влияния двух неевропейских (или – в случае с СССР – не совсем европейских) великих держав: Советского Союза и США. Раскол Европы стал как никогда более зримым, воплотившись в «железном занавесе». К западу от «занавеса» в 50–60-е гг. начались первые попытки долговременного межгосударственного сближения на экономической основе. «Европейское объединение угля и стали» трансформировалось в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), которое к середине 80-х не только объединило большинство капиталистических государств Старого Света, но и начало преобразовываться из инструмента чисто экономического сотрудничества в более широкий интеграционный проект, основанный на принципах либеральной демократии и правового государства. В то же время геополитическая роль Западной Европы на протяжении всего периода «холодной войны» оставалась довольно небольшой. С одной стороны, страны этого региона находились в сильной военно-политической зависимости от США. Отдельные попытки некоторых из них вести самостоятельную политику – как, например, Франции при де Голле – не могли существенно повлиять на общее положение дел. С другой стороны, советско-американское противостояние быстро приобрело глобальные масштабы, и в условиях, когда обе стороны были способны многократно уничтожить друг друга с помощью ядерного оружия, стратегическое значение Европы как потенциального театра военных действий резко снизилось. Наконец, в экономическом отношении ЕЭС стало отставать не только от США, но и от Японии. Западная Европа понемногу превращалась в «мировую провинцию».

Между тем в социалистическом лагере происходили процессы, которые – если отбросить политико-идеологическую оболочку – можно назвать традиционными для центра и востока Европы. Это было, пользуясь терминологией некоторых современных исследователей, «догоняющее развитие», т.е. попытка в исторически короткий срок сократить отставание от Запада по основным социально-экономическим параметрам. В результате «к началу восьмидесятых эти (социалистические – *Я. Ш.*) страны в основном завершили решение важнейших задач индустриализации и урбанизации: была подготовлена социально-экономическая почва для последующих преобразований»¹². Проблема, однако, заключалась в том, что в рамках социалистиче-

¹¹ Если считать первой волной подъем националистических настроений в странах, оккупированных Наполеоном в 1805–1814 гг., второй – «весну народов» середины XIX в., а третьей – атмосферу имперско-националистической истерии на рубеже XIX–XX вв., результатом которой стала Первая мировая война

¹² Социокультурные трансформации второй половины XX века в странах Центральной и Восточной Европы. Под ред. Н. В. Коровицкой. М., 2002. С. 11.

ской модели эти преобразования, связанные с переходом к стандартам постиндустриального общества, не могли быть осуществлены. Положение осложнялось серьезным моральным кризисом, возникшим в 70-е гг. в социалистических странах. Идеология коммунизма пришла в упадок, потребительские запросы общества росли, а удовлетворить их социалистическая экономика была не в состоянии. В активный возраст вступило новое поколение, приверженное ценностям, весьма сильно отличавшимся от тех, которым были верны их родители. Реформы 80-х гг. стали последней надеждой на сохранение прежней модели развития. Однако ей не суждено было сбыться. Социалистический лагерь рухнул, раскол Европы был формально преодолен.

Фактически же к востоку от бывшего «железного занавеса» сложилась необычная ситуация. С одной стороны, в обстановке эйфории первых посткоммунистических лет большая часть восточноевропейцев воспринимала материальные и духовные ценности Запада как несомненный образец для подражания и ориентир для собственных стран. С другой — неудача «догоняющего развития» при социализме поставила бывшие соцстраны перед необходимостью снова догонять Запад, на этот раз — в условиях постиндустриального капитализма. Подлинную цену нового витка этой гонки в бывших «бараках соцлагеря» узнали далеко не сразу, и как правило — мучительным методом проб и ошибок. Наконец, в 90-е гг. на востоке Европы поднялась новая, уже пятая волна национализма, обусловленная крахом интернационалистской коммунистической идеологии и созданных коммунистами имперских и квазиимперских государств — СССР и Югославии. Как отмечала в начале 90-х тогдашний генеральный секретарь Совета Европы Катрин Лалюмьер, «пятьдесят лет стабильности и демократии на западе Европы дали возможность выйти за рамки модели государства-нации, в то время как на востоке пятьдесят лет диктатуры... повернули самосознание обратно к вопросам этнической и национальной идентичности»¹³. Все эти факторы свидетельствовали о том, что подлинное преодоление раскола Европы не могло быть достигнуто устранением «железного занавеса» и формальным утверждением демократического строя во всех странах бывшего соцлагеря. Крушение коммунизма сыграло роль сказочной мертвой воды, соединившей части разрубленного некогда тела. Но для того, чтобы организм ожил, нужна была иная вода — живая.

Попытку узнать секрет этой живой воды и представляет собой, по сути дела, история евроинтеграции последнего десятилетия. Для нее характерно переплетение экономических, политических и военно-стратегических факторов. Ведь отождествлять интеграцию исключительно с развитием и расширением ЕС было бы неверно. Ее составными частями являются и экспансия НАТО на восток, и поиски этим военным блоком новой роли в изменившихся геополитических условиях, и попытки усиления позиций Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в общеевропейских процессах, и введение в 12 из 15 стран ЕС единой валюты — евро, и обозначившийся в последние годы новый формат взаимоотношений между НАТО и Евросоюзом, с одной стороны, и Россией — с другой... Для всех этих процессов были

¹³ C. Lalumiere. The Council of Europe's Place in the New European Architecture // NATO Review, 1992. Vol. 40. # 5. P. 8.

характерны три фазы, которые можно условно обозначить как романтическую, стабилизационную и прагматическую. Первая из них — в начале 90-х гг. — характеризовалась безудержным оптимизмом в отношении перспектив и масштабов интеграции. В это время выдвигались самые нестандартные идеи — от предложения Вацлава Гавела (1990) одновременно распустить Варшавский договор и НАТО (позднее Гавел, ставший одним из главных сторонников расширения НАТО на восток, очень не любил вспоминать об этом) до высказываний тогдашнего главы МИД России Андрея Козырева о полезности и даже необходимости вступления РФ в Североатлантический альянс.

К середине 90-х, однако, выяснилось, что трудности переходного периода в большинстве стран бывшего восточного блока оказались более серьезными, чем предполагалось. Балканы, а отчасти и постсоветское пространство превратились в обширные зоны гражданских войн и межэтнических конфликтов, угрожавших дестабилизировать всю Европу. К тому же Запад вновь, как в эпоху «Версальской системы», оказался не в состоянии сыграть в этих конфликтах роль объективного арбитра. Наоборот, он встал на сторону одной соперничающей стороны (хорватов и боснийских мусульман) против другой (сербов). Кроме того, геополитическое наступление Запада не вызывало восторга у российской элиты, стремившейся к удержанию хотя бы некоторых позиций, унаследованных РФ от СССР. В результате бывший «восточный блок» фактически распался на три региона с неодинаковым статусом по отношению к Западу и различной степенью участия в интеграционных процессах. Первый, центральноевропейский регион включает в себя страны, наиболее успешно преодолевшие трудности первоначального этапа экономической трансформации и настроенные однозначно прозападно в политическом смысле: Венгрию, Польшу, Словакию, Чехию, с некоторыми оговорками — Словакию, а также бывшие республики советской Прибалтики. Для второго региона — восточноевропейского, к которому можно отнести остальные европейские республики бывшего СССР (Россию, Украину, Белоруссию, Молдавию), характерно гораздо большее разнообразие моделей экономического и политического развития, куда более серьезные, чем у стран первого региона, социально-экономические проблемы и куда менее прозападный внешнеполитический курс. Наконец, третий регион — Балканы — пережил серию кровавых междоусобиц, в результате чего почти все его страны пришли в состояние экономического упадка, во многих случаях дополненного внутривластной нестабильностью. Со второй половины 90-х США при поддержке ЕС проводят на Балканах курс на создание фактического протектората (Босния и Косово — наиболее известные примеры), а о полноценной интеграции этого региона в «единую Европу» можно говорить лишь в весьма отдаленной перспективе¹⁴.

Таким образом, примерно с 1999 года (дата вступления в НАТО трех первых бывших соцстран — Венгрии, Польши и Чехии) начинается новый, прагматический этап европейской интеграции. Западным элитам становит-

¹⁴ Исключениями здесь являются Румыния и Болгария, оставшиеся в 90-е гг. в стороне от балканских войн. Несмотря на немалые экономические трудности, эти страны получили обещание в случае выполнения ими ряда условий быть принятыми в ЕС в 2007 — 2009 гг.; членами НАТО Румыния и Болгария должны стать уже в нынешнем году.

ся ясно, что в ближайшем будущем Западу под силу интегрировать в свои структуры лишь относительно небольшую часть бывшего восточного блока. Более того, издержки интеграции оказываются столь существенными, что обе стороны начинают тщательно взвешивать каждый шаг, направленный на дальнейшее сближение. Новые глобальные геополитические тенденции, проявившиеся в 2001–2003 гг., заставляют ЕС и НАТО пересмотреть многие аспекты своего курса. На передний план выдвигаются проблемы борьбы с терроризмом, совместной охраны общеевропейских границ, координации иммиграционной политики. Происходят серьезные сдвиги в отношениях Западом с Россией, которая из источника потенциальной угрозы и зоны нестабильности становится союзником в решении многих ключевых проблем. Напротив, в отношениях Западной Европы и США возникает некоторая напряженность, обусловленная их неодинаковым подходом к конфликтам на Ближнем Востоке и приверженностью нынешней американской администрации к односторонним, не согласованным с союзниками действиям на международной арене. В результате европейская интеграция в определенной мере утрачивает идеологический оттенок, становясь сугубо прагматическим проектом, направленным на укрепление безопасности, политической и экономической стабильности Старого Света. Проектом, осуществление которого – сложный и небыстрый процесс. Это вполне логично: живой воды даже в сказках не бывает много, и расходовать ее нужно с умом.

Где пройдут границы новой Европы?

Если на западе, севере и юге Европа имеет естественные границы, совпадающие с побережьем двух океанов и множества морей, то ее восточные рубежи размыты. Географы, конечно, проводят границу Европы и Азии по Уральскому хребту, реке Эмба и Кавказу, однако граница эта условна и не вызывает никаких исторических, геополитических или культурных ассоциаций – в отличие, скажем, от самих понятий «Европа» и «Азия». Между тем вопрос о границах Европы – это, по сути дела, вопрос о границах западной цивилизации, об ареале распространения – при всех национальных и государственных различиях – схожего образа жизни, экономического строя, подобных государственно-политических и правовых моделей, психологии, нравов и обычаев. Где кончается Европа и начинается Азия, Ближний или Средний Восток? Можно спросить и иначе: до каких пределов намерена расширяться та Европа, локомотивом которой собирается стать ЕС? И можно ли ставить знак равенства между понятиями «Европа» и «Европейский союз»? Возможна ли европейская по духу и целям интеграция вне рамок ЕС? В настоящее время четкого ответа ни на один из этих вопросов не существует.

Зато существуют опасения благополучных и зажиточных западноевропейцев относительно возможных последствий экспансии на восток. По данным представительного опроса общественного мнения, проведенного в 2002 году итальянским фондом «Фундационе Норд Эст» в странах ЕС, в среднем лишь 29,3% западноевропейцев полагает, что расширение Союза «необходимо и выгодно». 17,7% опрошенных считают его «необходимым, но невыгодным», 21,6% настаивают на том, что число стран-кандидатов «следовало бы ограни-

чить лишь несколькими государствами». Наконец, наиболее распространенным (31,3% респондентов) было мнение, согласно которому расширения ЕС «вообще следует избегать, поскольку оно принесет больше проблем, чем выгод»¹⁵. Основные опасения западноевропейцев касаются наплыва из Центральной и Восточной Европы дешевой рабочей силы, способной составить конкуренцию на рынке труда местным жителям, роста безработицы и преступности, общего снижения жизненного уровня за счет перераспределения средств ЕС в пользу новых членов Союза. Эти тревоги не лишены оснований, если учесть, что даже страны Центральной Европы, которые находятся ближе других к западным стандартам жизни, по уровню благосостояния все еще несопоставимы с западноевропейскими соседями. По данным британского еженедельника «Экономист», в Центральной Европе ВВП на душу населения в год составляет: в Словении — 18 тысяч долларов, в Чехии — 15 тысяч, в Венгрии — около 14 тыс., в Словакии и Эстонии — 12 тыс., в Польше и Литве — чуть более 10 тыс., в Латвии — 9 тыс., в то время как средний показатель по ЕС — 26 тысяч долларов¹⁶.

Однако и у стран-кандидатов есть собственные тревоги, касающиеся их будущего в ЕС. В частности, на саммите Евросоюза в Копенгагене в декабре 2002 года обсуждался вопрос об отчислениях этой организации своим будущим членам. Результаты не слишком удовлетворили большинство стран-кандидатов. Согласно копенгагенским договоренностям, до 2006 года (т.е. в первоначальный, наиболее сложный период пребывания в Союзе) из специального фонда ЕС, покрывающего примерно две трети всех расходов на расширение, будет тратиться следующее количество средств в пересчете на душу населения: для Польши — 60 евро, Венгрии — 45, Словении — 42, Чехии — 29 евро. Для сравнения приведем размеры дотаций, полученных наименее благополучными членами ЕС из брюссельской кассы в 2000 году (также на душу населения): Греция — 437 евро, Ирландия — 419, Испания — 216, Португалия — 211 евро¹⁷. Европейская комиссия утверждает, что небольшая величина дотаций для Центральной Европы в первую очередь связана с относительно невысоким уровнем доходов и покупательной способности населения в этих странах — по сравнению с государствами, уже состоящими в ЕС. Однако это объяснение удовлетворяет далеко не всех. Кроме того, целым секторам экономики региона придется после 2004 года весьма непросто. В частности, сельское хозяйство стран-кандидатов в течение как минимум пяти лет после вступления будет получать от Евросоюза дотации, составляющие не более половины (первоначально Брюссель настаивал на 25%) уров-

¹⁵ По данным опроса, наиболее скептически настроены оказались британцы (41,2% опрошенных — против расширения ЕС), наиболее оптимистично — жители Италии (38,6% считающих расширение «нужным и выгодным»). См.: K. Polednová. Rozšíření Evropské unie a migrace v Evropě po roce 2000. Postoje členských a kandidátských států // Mezinárodní politika, 2003. С. 3. S. 12.

¹⁶ The Economist, Aug. 16 — 22, 2003. P. 21. Данные приведены с учетом так называемого паритета покупательной способности, позволяющего сравнивать реальные доходы и жизненный уровень в разных странах.

¹⁷ Статистические данные приведены по: Nadcházejícího rozšíření: vysoké, nebo nízké? // Mezinárodní politika, 2003. С. 3. S. 6.

ня дотаций, перепадающих западноевропейским фермерам. Многие экономисты полагают, что такое положение приведет к массовым банкротствам в аграрном секторе Польши, Венгрии, Словакии и Чехии.

Все перечисленное касается лишь экономического аспекта проблемы расширения. Но есть и другие моменты. В разгар кризиса вокруг Ирака неожиданно выяснилось, что отношения с США могут стать катализатором нового раскола Европы. Американский министр обороны Доналд Рамсфелд, сделав в своей известной речи реверанс в сторону «новой Европы», под которой подразумевались в первую очередь страны ЦВЕ, придерживающиеся проамериканской ориентации, вызвал волну воодушевления у политических элит этих стран. И хотя общественное мнение в государствах региона на протяжении всего конфликта в Ираке оставалось устойчиво антивоенным, некоторые «новые» европейцы (в первую очередь Польша, ставшая вторым по значению после Великобритании союзником США в Ираке) получили от этой войны немалые геополитические дивиденды. А заодно — показали «старой», антивоенно настроенной Европе во главе с Германией и Францией, что ситуация, при которой путь из Берлина и Парижа в Вашингтон будет проходить, например, через Варшаву, отныне вовсе не является бессмысленной утопией. Кроме того, после войны в Ираке стало ясно, что опора евроатлантического сотрудничества медленно, но верно смещается на восток. Кстати, вскоре этот процесс примет конкретные формы: большинство военных баз НАТО, находящихся в Западной Европе, будет в ближайшие годы или ликвидировано, или переведено на восток и юго-восток — в Польшу, Венгрию, Румынию и Болгарию. То есть поближе к беспокойным регионам, в которых ныне задействованы войска США и НАТО — Балканам, Ближнему Востоку и Центральной Азии.

Таким образом, одно из направлений американской политики в Старом Свете — укрепление позиций «новой» Европы в противовес Франции и Германии. А заодно — создание «профилактического» барьера на случай нового всплеска нестабильности на постсоветском пространстве. Американский фактор — одна из причин того, что, вопреки раздававшимся в начале 90-х прогнозам, Центральная и Восточная Европа не только не превратилась из геополитического в чисто географическое понятие, но даже наоборот — ее стратегическое значение несколько выросло. Опора «новых» европейцев на США как главного партнера в военно-стратегической области означает также, что вынашиваемые некоторыми лидерами Евросоюза планы ускоренного формирования европейских вооруженных сил и придания внешней и оборонной политике ЕС большей самостоятельности вряд ли будут осуществлены достаточно быстро. Если конкуренция Европы и Америки в различных областях экономики является свершившимся фактом и, несомненно, будет продолжаться, то в политической и военной сферах у Европы, судя по всему, нет шансов не только посоперничать с США, но хотя бы несколько ослабить узы атлантизма, которые иногда, как жалуются европейские, особенно французские, политики, способны превращаться в настоящие путы.

Мы подошли к двум другим важным темам, связанным с процессом европейской интеграции: региональному сотрудничеству и отношениям нынешнего и будущего ЕС с европейской периферией — странами СНГ, Балканами и

Турцией. Сейчас все громче звучат голоса, заявляющие, что будущая Европа не будет ни по-настоящему единой, т.е. унитарной или федеративной, ни Европой национальных государств, связанных между собой чем-то вроде конфедеративных отношений, а Европой регионов. Именно на этот уровень, по мнению сторонников данной теории, перейдет большая часть полномочий, сосредоточенных ныне в руках национальных правительств и брюссельской «еврократии» — органов Евросоюза¹⁸. В подобных рассуждениях есть своя логика. С одной стороны, уже с 1 мая будущего года ЕС будет объединять 25 стран, что еще более снизит управляемость этой весьма громоздкой организации. С другой стороны, абсолютное большинство европейцев явно не готово к ускоренной «брюсселизации», т.е. передаче структурам Евросоюза большей части полномочий правительств отдельных стран. (К тому же аппарат ЕС и без того часто обвиняют в чрезмерном бюрократизме.) Региональное сотрудничество представляет в этом отношении разумный компромисс, находясь между «еврократическим» и национально-государственным уровнями управления. В рамках ЕС уже существует весьма успешная модель такого сотрудничества — Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург). Черты мощного регионального объединения приобретает и франко-германский тандем, есть неплохие перспективы взаимодействия у скандинавских стран, а в Центральной Европе с переменным успехом, но в целом полезно для всех ее участников работает «вышеградская четверка» (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия).

Как сочетать нужды интеграции и потребности отдельных государств? «Чем дальше будет расширяться Евросоюз, тем более разнородным он будет, — отмечает обозреватель немецкого журнала «Ди Цайт» Юрген Кокка. — Поэтому необходимо позволить отдельным группам стран-членов более тесное сотрудничество между собой в тех или иных областях — например, в социальной политике». У регионов есть и другое преимущество: именно они могут служить мостиками в «другую», нееэсовскую Европу и даже за ее пределы. «Развитие особых связей с соседями, — пишет тот же автор, — которые тем самым оказались бы в союзных отношениях с ЕС, может сгладить негативный психологический эффект, вызванный отказом принять их в Союз на правах полноценных членов»¹⁹. Таким образом, в перспективе Старый Свет мог бы стать конгломератом стран и народов, объединенных разнообразными видами связей — межгосударственных, межрегиональных, конфедеративных и федеративных. Кризис, разразившийся в ЕС в конце 2003 года, когда Испания и Польша, с одной стороны, Франция, Германия и Италия — с другой не смогли достичь компромисса по вопросу о представительстве отдельных стран в органах Евросоюза после расширения, подтверждает, что «разноскоростная» Европа с одновременно существующими несколькими моделями интеграции — проект более реалистичный и жизнеспособный, чем действительно единая Европа, «переработанное и дополненное» издание империи римских цезарей, Карла Великого или Наполеона.

В качестве моделей сотрудничества в рамках такой, действительно «большой» Европы нашлось бы место и ЕС, и другим интеграционным проектам,

¹⁸ Подробнее см., напр.: Structural Policies and European Territory. Cooperation without Frontiers

¹⁹ J. Cocks. Wo liegst du, Europa? // Die Zeit, 2002. # 49.

в том числе на пространстве бывшего СССР. Некоторые страны, которые давно и активно претендуют на членство в Евросоюзе (например, Турция), но вряд ли способны в обозримом будущем выполнить все требования этой организации, касающиеся экономической, политической и государственно-правовой системы, вполне могли бы со временем стать ассоциированными членами ЕС. Другие варианты взаимодействия возможны с такими государствами, как Россия и Украина, чье вступление в ЕС вряд ли будет целесообразным даже в отдаленной перспективе. Россия, переставшая быть мировой сверхдержавой, остается крупной евроазиатской державой, и эта роль вряд ли может сочетаться с членством в ЕС. Такое членство могло бы повредить как самой России, чьи возможности для ведения самостоятельной политики будут в этом случае заметно ограничены, так и ЕС, корабль которого получил бы слишком сильный крен на восточный борт. Но в рамках гибкой многоуровневой «большой» Европы нашлось бы место для самого разнообразного и широкого сотрудничества России и ее западных соседей. Если в американской политической иерархии существует такое понятие, как ENA (Essential Non-NATO Ally – «важный союзник, не являющийся членом НАТО»), то почему бы и Европейскому союзу не подумать в перспективе о формализации статуса тех стран, развитие связей с которыми представляется особенно важным?

Альтернативой всестороннему сотрудничеству в восточной части Европы может быть только изоляция или самоизоляция РФ, означающая ее «уход» в Азию. Такой сценарий сделал бы и Европу, и Россию куда более бедными (в материальном и духовном смысле) и небезопасными регионами мира. К счастью, пока подобное развитие событий представляется маловероятным. Оно таковым и останется, если все европейские народы будут помнить о двух принципах, с которых почти полвека назад, вскоре после самой страшной из войн, пережитых человечеством, начиналась европейская интеграция. Эти принципы – мир и свобода.

Прага